

ВОСПОМИНАНИЯ ГОРЬКОГО ОБ АНДРЕЕВЕ

Предисловие и примечания А. И. Наумовой

Воспоминания Горького «Леонид Андреев» написаны в ноябре—декабре 1919 г. Впервые полностью напечатаны в «Книге о Леониде Андрееве» (1922, стр. 5—38; 2-е изд.: 1922). До этого отдельные фрагменты появились в газете «Жизнь искусства», 1919, № 293-294, 15-16 ноября.

Горький выступил с воспоминаниями вскоре после получения известия о смерти Андреева, на вечере его памяти, подготовленном и организованном Горьким же. Состоялся 15 ноября 1919 г. в Петрограде, в помещении Тенишевского училища. Вечер этот предварительно анонсировался в «Жизни искусства» 4-5 ноября (№ 284-285): «Студия Всемирной литературы» предполагает устроить в субботу, 8 ноября, вечер, посвященный памяти скончавшегося в Финляндии писателя Леонида Андреева. В вечере примут участие М. Горький, А. Амфитеатров, А. Блок, К. Чуковский, Е. Замятин и др.».

Из воспоминаний участников этого вечера (Горького, Чуковского, Блока, Чулкова, Зайцева, Телешева, Замятина) составлена книга памяти Андреева (во 2-е издание были дополнительно включены воспоминания Андрея Белого). Горький внес в свой очерк новые отрывки («Очень трудно говорить о человеке...», «У него была неприятная манера...» и «Однажды он рассказал...»), чем значительно обогатил воспоминания. Затем им было подготовлено новое издание воспоминаний для изд-ва «Книга» (Берлин, 1923), куда он дополнительно включил отрывок — «Лишь в 15-м году...» до — «в 16-м году». В таком виде воспоминания печатались в позднейших изданиях.

С теми же воспоминаниями Горький выступил и в Москве, 18 февраля 1920 г. в Большом зале Консерватории, на вечере памяти Андреева («Известия», № 35, 17 февраля).

Вот что рассказывает К. И. Чуковский об обстоятельствах, предшествовавших возникновению воспоминаний Горького:

«В сентябре 1919 года в одну из комнат „Всемирной литературы“ вошел, сутулясь сильнее обычного, Горький и глухо сказал, что из Финляндии ему сейчас сообщили о смерти Леонида Андреева.

И, не справившись со слезами, умолк. Потом пошел к выходу, но повернулся и проговорил с удивлением:

— Как это ни странно, это был мой единственный друг. Единственный.

Потом подошел к Блоку.

— Вы знали его? Напишите о нем. Да и вы все напишите — что вспомните,— обратился он к нам.— И я напишу. Непременно!

Мы исполнили желание Алексея Максимовича, и месяца через два в Петрограде, в нетопленном зале Тенишевского училища, состоялся устроенный Горьким вечер «Памяти Леонида Андреева» («Люди и книги». 2-е изд. М., 1960, стр. 512—513).

Воспоминания Горького многое раскрыли в характере отношений писателей, в их многолетней дружбе. Они были встречены с большим интересом в России и за границей. Вот, например, что писал Горькому (9 марта 1925 г.) Стефан Цвейг: «Простите, дорогой великий Горький, если мои слова покажутся вам льстивыми, но, клянусь вам, я уже долгие годы не ощущал такого сердечного жара, такой ясной и человеческой



ДАЧА А. П. ГОРБИК В ДЕРЕВНЕ НЕЙВОЛА (ТЕПЕРЬ С. ГОРЬКОВСКОЕ)
ЗДЕСЬ В 1914—1916 ГОДАХ ЖИЛ ГОРЬКИЙ

Фотография

Музей Горького, Москва

искренности, какие почувствовал в вашей книге воспоминаний, особенно в главах о встречах с Л. Андреевым,— эти главы глубоко взволновали меня. Я перечел их, по крайней мере, десять раз и знаю, что перечту еще и еще раз. Сознаюсь, я *завидую* вашему таланту рассказывать так просто, так восхитительно ясно: никто в Европе не обладает в такой мере этим даром, даже Толстой и тот не владел этой высшей простотой...» («Архив Горького», т. VIII, стр. 18). Прочитав воспоминания Горького об Андрееве, появившиеся в сокращенном виде во французском журнале «Clarté», Ромен Роллан писал Горькому: «Я считаю это одними из лучших страниц, написанных вами» (АГ. Письмо от 25 ноября 1922 г.).

В советской печати, вскоре после выхода «Книги о Л. Андрееве» появились различные и разноречивые отклики. Вяч. Полонский выступил с критикой всего сборника воспоминаний («Печать и революция», 1922, № 2); высокую оценку книги дал И. Н. Кубиков («Новый мир», 1922, № 1), и т. д.

Любопытно отношение самого Горького к своим воспоминаниям. Из статьи И. С. Зильберштейна «Недостатки большого труда. (Новое издание произведений А. М. Горького)» — «Литературная газета», 1956, № 71, 16 июня — стало известно, что «в 1934 г. писателю был представлен план двухтомного собрания избранных произведений, куда было намечено включить мемуарный очерк „Леонид Красин“. Горький зачеркнул в плане фамилию Красин, оставил только имя „Леонид“, а сбоку приписал: „А не лучше ли Андреев“. И действительно, воспоминания „Леонид Андреев“ были включены в двухтомник» (как сообщил нам И. С. Зильберштейн, план этого двухтомника с пометками Горького хранился у И. А. Груздева, ныне у Т. К. Груздевой).

Из этого видно, что сам Горький считал воспоминания об Андрееве — одной из наиболее значительных своих мемуарных работ.

* * *

Местонахождение автографа воспоминаний — неизвестно. При жизни Горького они печатались несколько раз, в частности, вошли в т. XXII Собр. соч. (1933). Но в тридцатитомное издание сочинений и писем Горького (1949—1956) включены не были. Мы печатаем текст по Собр. соч. 1933 г., редактировавшемуся И. А. Груздевым при жизни Горького.

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Весною 1898 г. я прочитал в московской газете «Курьер» рассказ «Бер-амот и Гараська» — пасхальный рассказ обычного типа; направленный к сердцу праздничного читателя, он еще раз напоминал, что человеку доступно — иногда, при некоторых особых условиях — чувство великодушия, и что порою враги становятся друзьями, хотя и не надолго. скажем — на день.

Со времен «Шинели» Гоголя русские литераторы написали, вероятно, несколько сотен или даже тысяч таких нарочито трогательных рассказов; вокруг великолепных цветов подлинной русской литературы они являются одуванчиками, которые, якобы, должны украсить нищенскую жизнь большой и жесткой русской души*.

Но от этого рассказа на меня повеяло крепким дуновением таланта, который чем-то напоминал мне Помяловского¹, а, кроме того, в тоне рассказа чувствовалась скрытая автором умная улыбочка недоверия к факту, — улыбочка эта легко примиряла с неизбежным сентиментализмом «пасхальной» и «рождественской» литературы.

Я написал автору письмо по поводу рассказа и получил от Л. Андреева забавный ответ, — оригинальным почерком, полупечатными буквами он писал веселые, смешные слова, и среди них особенно подчеркнуто выделился незатейливый, но скептический афоризм:

«Сытому быть великодушным столь же приятно, как пить кофе после обеда»².

С этого началось мое заочное знакомство с Леонидом Николаевичем Андреевым. Летом я прочитал еще несколько маленьких рассказов его и фельетонов Джемса Линч, наблюдая, как быстро и смело развивается своеобразный талант нового писателя.

Осенью, проездом в Крым, в Москве, на Курском вокзале, кто-то познакомил меня с Л. Андреевым³. Одетый в старенькое пальто-тулупчик, в мохнатой бараньей шапке набекрень, он напоминал молодого актера украинской труппы. Красивое лицо его показалось мне малоподвижным, но пристальный взгляд темных глаз светился той улыбкой, которая так хорошо сияла в его рассказах и фельетонах. Не помню его слов, но они были необычны, и необычен был строй возбужденной речи. Говорил он торопливо, глуховатым, бухающим голосом, простуженно кашляя, немножко захлебываясь словами и однообразно размахивая рукой, — точно дирижировал. Мне показалось, что это здоровый, неуёмно веселый человек, способный жить, посмеиваясь над невзгодами бытия. Его возбуждение было приятно.

— Будемте друзьями! — говорил он, пожимая мою руку.

Я тоже был радостно возбужден.

Зимой, на пути из Крыма в Нижний, я остановился в Москве, и там наши отношения быстро приняли характер сердечной дружбы.

Я видел, что этот человек плохо знает действительность, мало интересуется ею, — тем более удивлял он меня силой своей интуиции, плодотворностью фантазии, цепкостью воображения. Достаточно было одной фразы, а иногда — только меткого слова, чтобы он, схватив ничтожное, данное ему, тотчас развил его в картину, анекдот, характер, рассказ.

— Что такое С.? — спрашивает он об одном литераторе, довольно популярном в ту пору.

* Весьма вероятно, что в ту пору я думал не так, как изображаю теперь, но старые мои мысли — неинтересно вспоминать. — *Прим. М. Горького.*

— Тигр из мехового магазина ⁴.

Он смеется и, понизив голос, точно сообщая тайну, торопливо говорит:

— А — знаете — надо написать человека, который убедил себя, что он — герой, эдакий разрушитель всего сущего и даже сам себе страшен, — вот как! Все ему верят, так хорошо он обманул сам себя. Но где-то в своем уголке — в настоящей жизни, он — просто жалкое ничтожество, боится жены или даже кошки.

Навизывая слово за словом на стержень гибкой мысли, он легко и весело создавал всегда что-то неожиданное, своеобразное.

Ладонь одной руки у него была пробита пулей, пальцы скрючены, — я спросил его: как <это> случилось?

— Эживок юношеского романтизма, — ответил он. — Вы сами знаете, человек, который не пробовал убить себя, дешево стоит.

Он сел на диван вплоть ко мне и прекрасно рассказал о том, как однажды, будучи подростком, бросился под товарный поезд, но, к счастью, угодил вдоль рельс, и поезд промчался над ним, только оглушив его ⁵.

В рассказе было что-то неясное, недействительное, но он украсил его изумительно ярким описанием ощущений человека, над которым с железным грохотом двигаются тысячепудовые тяжести. Это было знакомо и мне, — мальчишкой лет десяти я ложился под балластный поезд, соперничая в смелости с товарищами, — один из них, сын стрелочника, делал это особенно хладнокровно. Забава эта почти безопасна, если топка локомотива достаточно высоко поднята и если поезд идет на подъем, а не под уклон; тогда сцепления вагонов туго натянуты и не могут ударить вас или, зацепив, потащить по шпалам. Несколько секунд переживаешь жуткое чувство, стараешься прильнуть к земле насколько возможно плотнее и едва побеждая напряжением всей воли страстное желание пошевелиться, поднять голову. Чувствуешь, что поток железа и дерева, проносясь над тобою, отрывает тебя от земли, хочет увлечь куда-то, а грохот и скрежет железа раздается как будто в костях у тебя. Потом, когда поезд пройдет, с минуту и более лежишь на земле, не в силах подняться, кажется, что ты плывешь вслед поезду, а тело твое как будто бесконечно вытягивается, растет, становится легким, воздушным, — и — вот сейчас полетишь над землей. Это очень приятно чувствовать.

— Что влекло вас к такой нелепой забаве? — спросил Леонид Николаевич.

Я сказал, что, может быть, мы испытывали силу нашей воли, противопоставляя механическому движению огромных масс — сознательную неподвижность ничтожного нашего тела.

— Нет, — возразил он, — это слишком мудрено, не по-детски.

Напомнив ему, как дети «мнут зыбку» — качаются на упругом льду только что замерзшего пруда или затона реки, я сказал, что опасные забавы вообще нравятся детям.

Он помолчал, закурил папиросу и, тотчас бросив ее, посмотрел прищуренными глазами в темный угол комнаты.

— Нет, это, должно быть, не так. Почти все дети боятся темноты... Кто-то сказал:

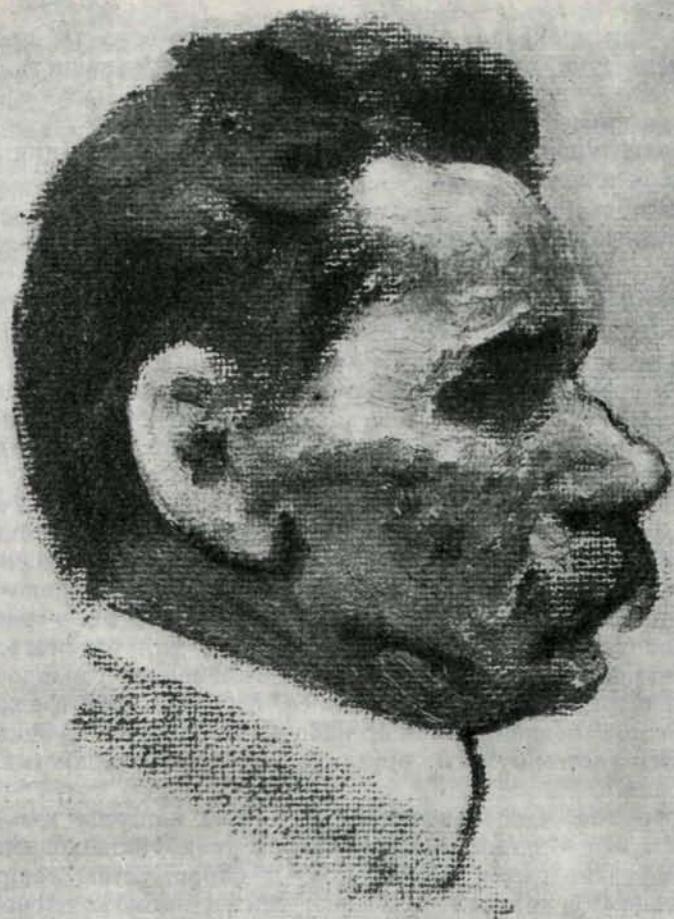
— Есть наслаждение в бою

И бездны мрачной на краю ⁶,

но — это «красное словцо», не больше. Я думаю как-то иначе, только не могу понять — как?

И вдруг встрепенулся весь, как бы обожжен внутренним огнем.

— Следует написать рассказ о человеке, который всю жизнь, — безумно страдая, — искал истину, и вот она явилась пред ним, но он закрыл



I. E. Repin

ГОРЬКИЙ

Эскиз маслом И. Е. Репина, 1916 г.

Дата «1915», проставленная художником позднее, ошибочна

Частное собрание, Стокгольм

глаза, заткнул уши и сказал: «Не хочу тебя, даже если ты прекрасна, потому что жизнь моя, муки мои — зажгли в душе ненависть к тебе». Как вы думаете?

Мне эта тема не понравилась; он вздохнул, говоря:

— Да, сначала нужно ответить, где истина — в человеке или вне его? По-вашему — в человеке?

И засмеялся:

— Тогда это очень плохо, очень ничтожно...

Не было почти ни одного факта, ни одного вопроса, на которые мы с Леонидом Николаевичем смотрели бы одинаково, но бесчисленные разногласия не мешали нам — целые годы — относиться друг к другу с тем напряжением интереса и внимания, которое не часто является результатом даже долголетней дружбы. Беседовали мы неумолимо, помню — однажды просидели непрерывно более двадцати часов, выпив два самовара чая, — Леонид поглощал его в невероятном количестве.

Он был удивительно интересный собеседник, неистощимый, остроумный. Хотя его мысль обнаруживала всегда упрямое стремление заглядывать в наиболее темные углы души, но — легкая, капризно своеобразная, она свободно отливалась в формы юмора и гротеска. В товарищеской беседе он умел пользоваться юмором гибко и красиво, но в рассказах терял — к сожалению — эту способность, редкую для русского.

Обладая фантазией живой и чуткой, он был ленив; гораздо больше любил говорить о литературе, чем делать ее. Ему было почти недоступно наслаждение ночной подвижнической работы⁷ в тишине и одиночестве над белым, чистым листом бумаги; он плохо ценил радость покрывать этот лист узором слов.

— Пишу я трудно, — сознавался он. — Перья кажутся мне неудобными, процесс письма — слишком медленным и даже унижающим. Мысли у меня мечутся точно галки на пожаре, я скоро устаю ловить их и строить в необходимый порядок. И бывает так: я написал слово — паутина, вдруг, почему-то, вспоминается геометрия, алгебра и учитель орловской гимназии — человек, разумеется, — тупой. Он часто вспоминал слова какого-то философа: «Истинная мудрость спокойна». Но я знаю, что лучшие люди мира мучительно беспокойны. К чёрту спокойную мудрость! А что же на ее место? Красоту? Да здравствует! Однако, хотя я не видел Венеру в оригинале, — на снимках она кажется мне довольно глупой бабой. И вообще — красивое всегда несколько глуповато, например — павлин, борзая собака, женщина.

Казалось бы, что он, равнодушный к фактам действительности, скептик в отношении к разуму и воле человека, — не должен был увлекаться дидактикой, учительством, неизбежным для того, кому действительность знакома излишне хорошо. Но первые же наши беседы ясно указывали, что этот человек, обладая всеми свойствами превосходного художника, — хочет встать в позу мыслителя и философа. Это казалось мне опасным, почти безнадежным, главным образом потому, что запас его знаний был странно беден. И всегда чувствовалось, что он как бы ощущает около себя невидимого врага, — напряженно спорит с кем-то, хочет кого-то побороть.

Читать Леонид Николаевич не любил и, сам являясь делателем книги — творцом чуда, — относился к старым книгам недоверчиво и небрежно.

— Для тебя книга — фетиш, как для дикаря, — говорил он мне. — Это потому, что ты не протираешь своих штанов на скамьях гимназии, не соприкасался науке университетской. А для меня «Илиада», Пушкин и все прочее замусолено слюною учителей, протитупировано геморроидаль-

ными чиновниками. «Горе от ума» — скучно так же, как задачник Евтушевского. «Капитанская дочка» надоела, как барышня с Тверского бульвара.

Я слишком часто слышал эти обычные слова о влиянии школы на отношение к литературе, и они давно уже звучали для меня неубедительно, — в них чувствовался предрассудок, рожденный русской ленью.

Гораздо более индивидуально рисовал Л. Андреев, как рецензии и критические очерки газет мнут и портят книги, говоря о них языком хроники уличных происшествий.

— Это — мельницы, они перемалывают Шекспира, Библию — все, что хочешь, — в пыль пошлости. Однажды я читал газетную статью о Дон-Кихоте и вдруг с ужасом вижу, что Дон-Кихот — знакомый мне старичок, управляющий казенной палатой, у него был хронический насморк и любовница, девушка из кондитерской, он называл ее — Милли, а в действительности — на бульварах — ее звали Сонька Пузырь...

Но, относясь к знанию и книге беззаботно, небрежно, а иногда — враждебно, он постоянно и живо интересовался тем, что я читаю. Однажды, увидав у меня в комнате «Московской гостиницы» книгу Алексея Остроумова о Синезии, епископе Птолемаиды⁸, — спросил удивленно: — Это зачем тебе?

Я рассказал ему о странном епископе-полужычнике и прочитал несколько строк из его сочинения «Похвала плешивости»: «Что может быть плешивее, что божественнее сферы?»

Это патетическое восклицание потомка Геркулеса вызвало у Леонида припадок бешеного смеха, но тотчас же, стирая слезы с глаз и все еще улыбаясь, он сказал:

— Знаешь, — это превосходная тема для рассказа о неверующем, который, желая испытать глупость верующих, надевает на себя маску святости, живет подвижником, проповедует новое учение о боге — очень глупое, — добивается любви и поклонения тысяч, а потом говорит ученикам и последователям своим: «Все это — чепуха». Но для них вера необходима, и они убивают его.

Я был поражен его словами; дело в том, что у Синезия есть такая мысль: «Если бы мне сказали, что епископ должен разделять мнение народа, то я открыл бы пред всеми, кто я есть. Ибо что может быть общего между чернью и философией? Божественная истина должна быть скрытой, народ же имеет нужду в другом».

Но эту мысль я не сообщил Андрееву и не успел сказать ему о необычайной позиции некрещеного язычника-философа в роли епископа христианской церкви. Когда же я сказал ему об этом, он, торжествуя и смеясь, воскликнул:

— Вот видишь, — не всегда надо читать для того, чтобы знать и понимать.

Леонид Николаевич был талантлив по природе своей, органически талантлив, его интуиция была изумительно чутка. Во всем, что касалось темных сторон жизни, противоречий в душе человека, брожений в области инстинктов, — он был жутко догадлив. Пример с епископом Синезией — не единичен, я могу привести десяток подобных.

Так, беседуя с ним о различных искателях незыблемой веры, я рассказал ему содержание рукописной «Исповеди» священника Аполлова, — об одном из произведений безвестных мучеников мысли, которые вызваны к жизни «Исповедью» Льва Толстого⁹. Рассказывал о моих личных наблюдениях над людьми догмата, — они часто являются добровольными пленниками слепой, жесткой веры и тем более фанатически защищают истинность ее, чем мучительнее сомневаются в ней.

Андреев задумался, медленно помешивая ложкой в стакане чая, потом сказал, усмехаясь:

— Странно мне, что ты понимаешь это, — говоришь ты, как атеист, а думаешь, как верующие. Если ты умрешь раньше меня, я напишу на камне могилы твоей: «Призывая поклоняться разуму, он тайно издевался над немощью его».

А через две-три минуты, наваливаясь на меня плечом, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками темных глаз, говорил вполголоса:

— Я напишу о попе, увидишь! Это, брат, я хорошо напишу!

И, грозя пальцем кому-то, крепко потирая висок, улыбался.

— Завтра еду домой и — начинаю! Даже первая фраза есть: «Среди людей он был одинок, ибо соприкасался великой тайне»¹⁰...

На другой же день он уехал в Москву, а через неделю — не более — писал мне, что работает над попом, и работа идет легко, «как на лыжах». Так всегда он хватал налету все, что отвечало потребности его духа в соприкосновении к наиболее острым и мучительным тайнам жизни.

Шумный успех первой книги насытил его молодой радостью. Он приехал в Нижний ко мне веселый, в новеньком костюме табачного цвета, грудь туго накрахмаленной рубашки была украшена дьявольски-пестрым галстуком, а на ногах — желтые ботинки.

— Искал палевые перчатки, но какая-то леди в магазине на Кузнецком напугала меня, что палевые уже не в моде. Подозреваю, что она — соврала, наверное, дорожит свободой сердца своего и боялась убедиться, сколь я неотразим в палевых перчатках. Но по секрету скажу тебе, что все это великолепие — неудобно, и рубашка гораздо лучше.

И вдруг, обняв меня за плечи, сказал:

— Знаешь, мне хочется гимн написать, еще не вижу — кому или чему, но обязательно — гимн! Что-нибудь шиллеровское, а? Эдакое густое, звучное — бомм!

Я пошутил над ним.

— Что же! — весело воскликнул он. — Ведь у Екклесиаста правильно сказано: «Даже и плохонькая жизнь лучше хорошей смерти». Хотя там что-то не так, а — о льве и собаке: «В домашнем обиходе плохая собака полезнее хорошего льва»¹¹. А — как ты думаешь: Иов мог читать книгу Екклесиаста?

Упоенный вином радости, он мечтал о поездке по Волге на хорошем пароходе, о путешествии пешком по Крыму.

— И тебя потащу, а то ты окончательно замуруешь себя в этих кирпичах, — говорил он, указывая на книги.

Его радость напоминала оживленное благополучие ребенка, который слишком долго голодал, а теперь думает, что навсегда сыт.

Сидели на широком диване в маленькой комнате, пили красное вино, Андреев взял с полки тетрадь стихов:

— Можно?

И стал читать вслух:

Медных сосен колонны,
Моря зvon монотонный.

— Это Крым? А вот я не умею писать стихи, да и желания нет. Я больше всего люблю баллады, вообще:

Я люблю все то, что ново,
Романтично, бестолково,
Как поэт
Прежних лет.

РАССКАЗ АНДРЕЕВА «БАРГАМОТ
И ТАРАСЬКА». ОТДЕЛЬНОЕ ИЗДА-
НИЕ

Первая страница

«Донская реч». Ростов н/Д, 1903



Баргамотъ и Тараська.

Леонида Андреева.

Было бы несправедливо сказать, что природа обидѣла Ивана Акиндиныча Бергамотова въ своей официальной части именованнаго «городовой бляха № 20», а въ неофициальной, попросту «Баргамотомъ». Обитатели одной изъ окраинъ губернскаго городка О., въ свою очередь по отношенію къ мѣсту жительства называвшіеся пушкарями (отъ названія Пушкарной улицы), а съ духовной стороны характеризовавшіеся прозвищемъ «пушкарки-проломленныя головы», давая Ивану Акиндиновичу это имя, безъ сомнѣнія, не имѣли въ виду свойства, присущія столь иѣжному и деликатному плоду, какъ бергамотъ. По своей внѣшности «Баргамотъ» скорѣе напоминалъ мастодонта, или вообще одно изъ тѣхъ милыхъ, но погибшихъ созданий, которыя за недостаткомъ помѣщенія, давно уже покинули землю, заполненную мозаиками-людшками: Высокій, толстый, сильный, громогласный Баргамотъ составлялъ на полицейскомъ горизонтѣ видную фигуру, и давно, конечно, достигъ бы извѣстныхъ степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стѣнами, не была погружена въ богатырскій сонъ. Внѣшніе впечатлѣнія, проходя въ душу Баргамота черезъ его маленькіе заплавыніе глазки, по дорогѣ теряли всю свою остроту и силу и доходили до мѣста назначенія лишь въ видѣ слабыхъ отзвуковъ и отблесковъ. Человѣкъ съ возвышенными тре-

Это поютъ в оперетке — «Зеленый остров», кажется.

И вздыхают деревья,
Какъ безъ рифмы стихи.

— Это мне нравится. Но — скажи — зачемъ ты пишешь стихи? Это такъ не идетъ къ тебѣ. Все-таки стихи — искусственное дело, какъ хочешь. Потомъ сочиняли пародіи на Скитальца:

— Возьму я большое полено
В могучую руку мою
И всехъ — до седьмого колена
Я васъ перебью!
И пуще того огоршу —
Ура! Тррепещите! Я — рад.
Казбекомъ вамъ в головы брошу,
Низвергну на васъ Арарат!

Онъ хохоталъ, неистощимо придумывая милые смешные глупости, но вдругъ, наклонясь ко мнѣ, со стаканомъ вина в руке, заговорилъ негромко и серьезно:

— Недавно я прочиталъ забавный анекдотъ: — в какомъ-то английскомъ городѣ стоитъ памятникъ Роберту Бёрнсу — поэту. Надписи на памятнике — кому онъ поставленъ, нѣтъ. У подножья его — мальчикъ, торгуетъ газетами. Подошелъ къ нему какой-то писатель и говоритъ: «Я куплю у тебя номеръ газеты, если ты скажешь, чья эта статуя?» — «Роберта Бёрнса», — отвѣтилъ

мальчик. — «Прекрасно! Теперь — я куплю у тебя все твои газеты, но скажи мне: за что поставили памятник Роберту Бёрнсу?» Мальчик ответил: «За то, что он умер». Как это нравится тебе?

Мне это не очень понравилось, — меня всегда тяжело тревожили резкие и быстрые колебания настроений Леонида.

Слава не была для него только «яркой заплатой на ветхом рубище певца»¹², — он хотел ее много, жадно и не скрывал этого. Он говорил:

— Еще четырнадцать лет я сказал себе, что буду знаменит, или — не стоит жить. Я не боюсь сказать, что все сделанное до меня не кажется мне лучше того, что я сам могу сделать. Если ты сочтешь мои слова самонадеянностью, — ты ошибешься. Нет, видишь ли, это должно быть основным убеждением каждого, кто не хочет ставить себя в безличные ряды миллионов людей. Именно убеждение в своей исключительности должно — и может — служить источником творческой силы. Сначала скажем самим себе: мы не таковы, как все другие, потом уже легко будет доказать это и всем другим.

— Одним словом, — ты ребенок, который не хочет питаться грудью кормилицы...

— Именно: я хочу молока только души моей. Человеку необходимы любовь и внимание или — страх пред ним. Это понимают даже мужики, надевая на себя личины колдунов. Счастливее всех те, кого любят со страхом, как любили Наполеона.

— Ты читал его «Записки»?¹³

— Нет. Это — не нужно мне.

Он подмигнул, усмехаясь:

— Я тоже веду дневник и знаю, как это делается. Записки, исповеди и все подобное — испражнения души, отравленной плохой пищей.

Он любил такие изречения и, когда они удавались ему, искренно радовался. Несмотря на его тяготение к пессимизму, в нем жило нечто неискоренимо детское, — например, ребячливо-наивное хвастовство словесной ловкостью, которой он пользовался гораздо лучше в беседе, чем на бумаге.

Однажды я рассказывал ему о женщине, которая до такой степени гордилась своей «честной» жизнью, так была озабочена убедить всех и каждого в своей неприступности, что все окружающие ее, издыхая от тоски, или стремглав бежали прочь от сего образца добродетели, или же ненавидели ее до судорог.

Андреев слушал, смеялся и вдруг сказал:

— Я — женщина честная, мне не к чему ногти чистить — так?¹⁴

Этими словами он почти совершенно точно определил характер и даже привычки человека, о котором я говорил, — женщина была небрежна к себе. Я сказал ему это, он очень обрадовался и детски-искренно стал хвастаться:

— Я, брат, иногда сам удивляюсь, до чего ловко и метко умею двумя, тремя словами поймать самое существо факта или характера.

И произнес длинную речь в похвалу себе. Но — умница — понял, что это немножко смешно, и кончил свою тираду юмористическим шаржем:

— Со временем я так разовью мои гениальные способности, что буду одним словом определять смысл целой жизни человека, нации, эпохи...

Но все-таки критическое отношение к самому себе у него было развито не особенно сильно, это, порою, весьма портит и его работу и жизнь.

Леонид Николаевич странно и мучительно-резко для себя раскалывался надвое: — на одной и той же неделе он мог петь миру — «Осанна!» и провозглашать ему — «Анафема!»

Это не было внешним противоречием между основами характера и привычками или требованиями профессии, — нет, в обоих случаях он чувствовал одинаково искренно. И чем более громко он возглашал «Осанна!» — тем более сильным эхом раздавалась — «Анафема!»

Он говорил:

— Ненавижу субъектов, которые не ходят по солнечной стороне улицы из боязни, что у них загорит лицо или выпцветет пиджак, — ненавижу всех, кто из побуждений догматических препятствует свободной, капризной игре своего внутреннего «я».

Однажды он написал довольно едкий фельетон о людях теневой стороны¹⁵, а вслед за этим — по поводу смерти Золя¹⁶ от угара — хорошо полемизировал с интеллигентски-варварским аскетизмом, довольно обычным в ту пору. Но, беседуя со мною по поводу этой полемики, неожиданно заявил:

— А все-таки, знаешь, собеседник-то мой более последователен, чем я: писатель должен жить, как бездомный бродяга. Яхта Мопассана — нелепость¹⁷.

Он — не шутил. Мы поспорили, я утверждал: чем разнообразнее потребности человека, чем более жаден он к радостям жизни, — хотя бы и маленьким, тем быстрее развивается культура тела и духа. Он возражал: нет, прав Толстой, культура — мусор, она только искажает свободный рост души.

— Привязанность к вещам, — говорил он, — это фетишизм дикарей, идолопоклонство. Не сотвори себе кумира, иначе ты погас, — вот истина! Сегодня сделай книгу, завтра — машину, вчера ты сделал сапог и уже забыл о нем. Нам нужно учиться забывать.

А я говорил: необходимо помнить, что каждая вещь — воплощение духа человеческого, и часто внутренняя ценность вещи значительно больше человека.

— Это поклонение мертвой материи, — кричал он.

— В ней воплощена бессмертная мысль.

— Что такое мысль? Она двулична и отвратительна своим бессилием...

Спорили мы все чаще, все напряженнее. Наиболее острым пунктом наших разногласий было отношение к мысли.

Я чувствую себя живущим в атмосфере мысли и, видя, как много создано ею великого и величественного, — верю, что ее бессилие — временно. Может быть, я романтизирую и преувеличиваю творческую силу мысли, но это так естественно в России, где нет духовного синтеза, в стране язычески чувственной.

Леонид воспринимал мысль, как «злую шутку дьявола над человеком»; она казалась ему лживой и враждебной. Увлекая человека к пропастям необъяснимых тайн, она обманывает его, оставляя в мучительном и бессильном одиночестве пред тайнами, а сама — гаснет.

Столь же непримиримо расходились мы во взгляде на человека, источник мысли, горнило ее. Для меня человек всегда победитель даже и смертельно раненный, умирающий. Прекрасно его стремление к самопознанию и познанию природы, и хотя жизнь его мучительна, — он все более расширяет пределы ее, создавая мыслью своей мудрую науку, чудесное искусство. Я чувствовал, что искренно и действительно люблю человека — и того, который сейчас живет и действует рядом со мною, и того, умного, доброго, сильного, который явится когда-то в будущем. Андрееву человек представлялся духовно нищим; сплетенный из непримиримых противоречий инстинкта и интеллекта, он навсегда лишен возможности достичь какой-либо внутренней гармонии. Все дела его «суета сует», тлен и самообман. А главное — он раб смерти и всю жизнь ходит на цепи ее.

Очень трудно говорить о человеке, которого хорошо чувствуешь. Это звучит, как парадокс, но — это правда: когда таинственный трепет горения чужого «я» ощущается тобою, волнует тебя, — боишься дотронуться кривым, тяжелым словом твоим до невидимых лучей дорогой тебе души, боишься сказать не то, не так: не хочешь исказить чувствуемое и почти неуловимое словом, не решаешься заключить чужое, хотя и общезначимое, человечески ценное в твою тесную речь.

Гораздо легче и проще рассказывать о том, что чувствуешь недостаточно ясно, — в этих случаях многое — и даже все, что ты хочешь — можно добавить от себя.

Я думаю, что хорошо чувствовал Андреева: точнее говоря — я видел, как он ходит по той тропинке, которая повисла над обрывом в трясину безумия, над пропастью, куда заглядывая, зрение разума угасает.

Велика была сила его фантазии, но — несмотря на непрерывно и туго напряженное внимание к оскорбительной тайне смерти, он ничего не мог представить себе по ту сторону ее, ничего величественного или утешительного, — он был, все-таки, слишком реалист для того, чтобы выдумать утешение себе, хотя и желал его.

Это его хождение по тропе над пустотой и разъединяло нас всего более. Я пережил настроение Леонида давно уже, — и, по естественной гордости человеческой, мне стало органически противно и оскорбительно мыслить о смерти.

Однажды я рассказал Леониду о том, как мне довелось пережить тяжелое время «мечтаний узника о бытии за пределами его тюрьмы», о «каменной тьме» и «неподвижности», «уравновешенной навеки», — он вскочил с дивана и, бегая по комнате, дирижируя искалеченной ладонью, торопливо, возмущенно, задыхаясь, говорил:

— Это, брат, трусость, — закрыть книгу, не дочитав ее до конца! Ведь в книге — твой обвинительный акт, в ней ты отрицаешься — понимаешь? Тебя отрицают со всем, что в тебе есть — с гуманизмом, социализмом, эстетикой, любовью, — все это — чепуха по книге? Это смешно и жалко: тебя приговорили к смертной казни — за что? А ты, притворяясь, что не знаешь этого, не оскорблен этим, — цветочками любишься, обманывая себя и других, глупенькие цветочки!..

Я указывал ему на некоторую бесполезность протестов против землетрясения, убеждал, что протесты никак не могут повлиять на судороги земной коры — все это только сердило его.

Мы беседовали в Петербурге, осенью, в пустой, скучной комнате пятого этажа. Город был облечен густым туманом, в серой массе тумана недвижимо висели радужные, призрачные шары фонарей, напоминая огромные мыльные пузыри. Сквозь жидкую вату тумана к нам поднимались со дна улицы нелепые звуки, — особенно надоедливо чмокали по торцам мостовой копыта лошадей.

Там, внизу, со звоном промчалась пожарная команда. Леонид подошел ко мне, свалился на диван и предложил:

— Едем посмотреть пожар?

— В Петербурге пожары неинтересны.

Он согласился:

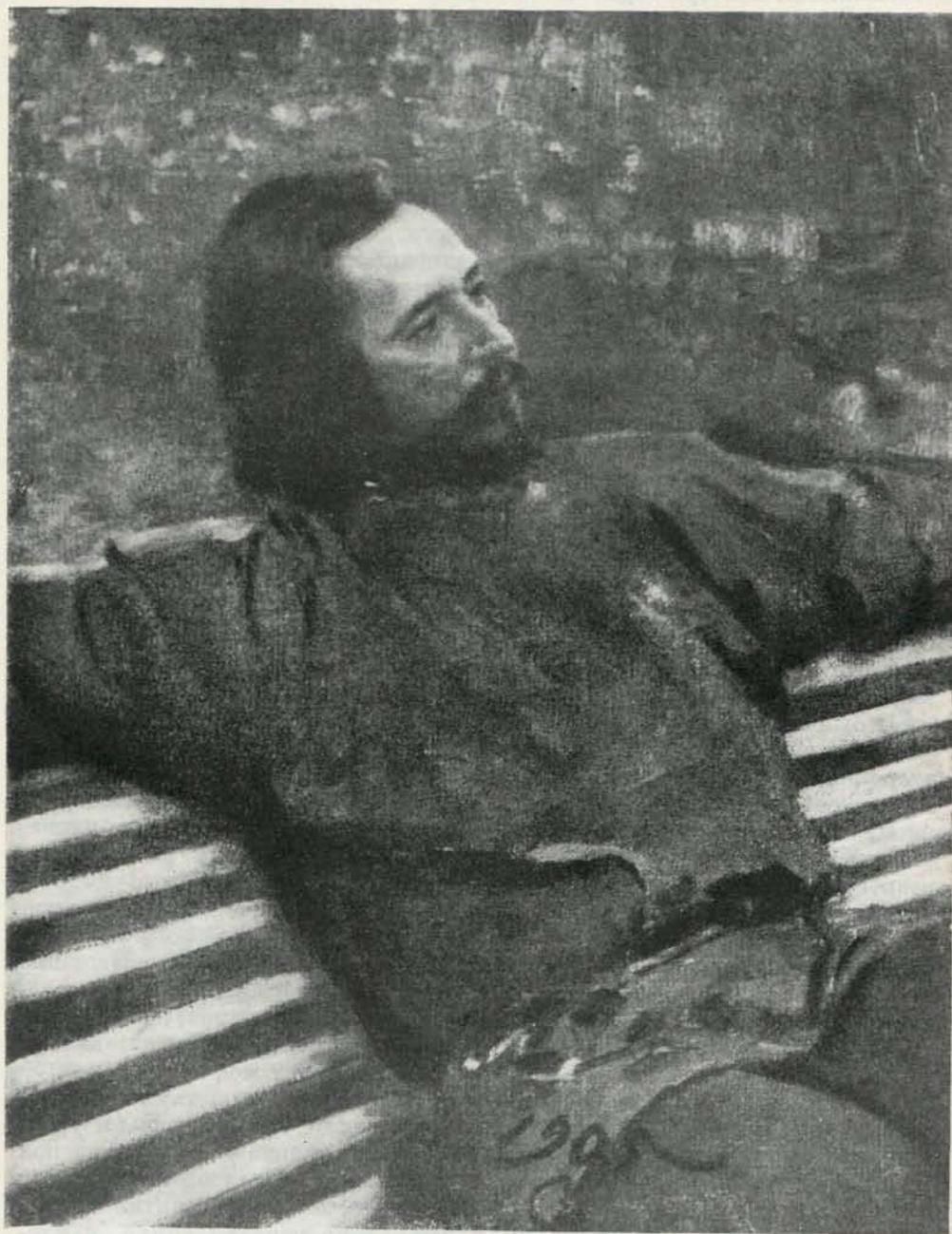
— Верно. А вот в провинции, где-нибудь в Орле, когда горят деревянные улицы и мечутся, как моль, мещане — хорошо! И голуби над тучей дыма — видел ты?

Обняв меня за плечи, он сказал, усмехаясь:

— Ты — все видел, чёрт тебя возьми! И — «каменную пустоту» — это очень хорошо — каменная тьма и пустота!

И, бодая меня головою в бок:

— Иногда я тебя за это ненавижу.



АНДРЕЕВ

Портрет маслом И. Е. Репина, 1905 г.

Художественный музей, Омск

Я сказал, что чувствую это.

— Да,— подтвердил он, укладывая голову на колени мне.— Знаешь — почему? Хочется, чтоб ты болел моей болью,— тогда мы были бы ближе друг к другу,— ты ведь знаешь, как я одинок!

Да, он был очень одинок, но, порою, мне казалось, что он ревниво оберегает одиночество свое, оно дорого ему как источник его фантастических вдохновений и плодотворная почва оригинальности его.

— Ты врешь, что тебя удовлетворяет научная мысль,— говорил он, глядя в потолок угрюмо-темным взглядом испуганных глаз.— Наука, брат, тоже мистика фактов: никто ничего не знает — вот истина. А вопросы — как я думаю и зачем я думаю, источник главной муки людей,— это самая страшная истина! Едем куда-нибудь, пожалуйста...

Когда он касался вопроса о механизме мышления — это всего более волновало его. И — пугало.

Оделись, спустились в туман и часа два плавали в нем по Невскому, как сомы по дну илистой реки. Потом сидели в какой-то кофейне, к нам неотвязно пристали три девушки, одна из них, стройная эстонка, назвала себя «Эльфридой». Лицо у нее было каменное, она смотрела на Андреева большими, серыми, без блеска, глазами, с жуткой серьезностью, и кофейной чашкой пила какой-то зеленый, ядовитый ликер. От него исходил запах жженой кожи.

Леонид пил коньяк, быстро захмелел, стал буйно остроумен, смешил девиц неожиданно-забавными и замысловатыми шутками и, наконец, решил ехать на квартиру к девицам,— они очень настаивали на этом. Отпускать Леонида одного было невозможно,— когда он начинал пить, в нем просыпалось нечто жуткое, мстительная потребность разрушения, какая-то ненависть «пленного зверя».

Я отправился с ним, купили вина, фруктов, конфет и где-то на Разъезжей улице, в углу грязного двора, заваленного бочками и дровами, во втором этаже деревянного флигеля, в двух маленьких комнатах, среди стен, убого и жалобно украшенных открытками, — стали пить.

Перед тем, как напиться до потери сознания, Леонид опасно и удивительно возбуждался, его мозг буйно вскипал, фантазия разгоралась, речь становилась почти нестерпимо яркой.

Одна из девушек, круглая, мягкая и ловкая, как мышь, почти с восхищением рассказала нам, как товарищ прокурора укусил ей ногу выше колена,— она, видимо, считала поступок юриста самым значительным событием своей жизни, показывала шрам от укуса и, захлебываясь волнением, радостно блестя стеклянными глазками, говорила:

— Он так любил меня,— даже вспомнить страшно! Укусил, знаете, а — у него зуб вставлен был,— и остался в коже у меня!

Эта девушка, быстро опьянев, свалилась в углу на кушетку и заснула, всхрапывая. Пышнотелая, густоволосая шатенка с глазами овцы и уродливо длинными руками играла на гитаре, а Эльфрида составила на пол бутылки и тарелки, вскочила на стол и плясала, молча, по-змеиному изгибаясь, не сводя глаз с Леонида. Потом она запела неприятно густым голосом, сердито расширив глаза, порой, точно переломленная, наклоняясь к Андрееву; он выкрикивал подхваченные им слова чужой песни, странного языка, и толкал меня локтем, говоря:

— Она что-то понимает, смотри на нее, видишь? Понимает!— Моментами возбужденные глаза Леонида как будто слепли; становясь еще темнее, они как бы углублялись, пытаясь заглянуть внутрь мозга.

Утомясь, эстонка спрыгнула со стола на постель, вытянулась, открыв рот и глядя ладонями маленькие груди, острые, как у козы.

Леонид говорил:

— Высшее и глубочайшее ощущение в жизни, доступное нам — судорога

полового акта, — да, да! И, может быть, земля, как вот эта сука, мечется в пустыне вселенной, ожидая, чтобы я оплодотворил ее пониманием цели бытия, а сам я, со всем чудесным во мне, — только сперматозоид.

Я предложил ему идти домой.

— Иди, я останусь здесь...

Он был уже сильно пьян, и с ним было много денег. Он сел на кровать, поглаживая стройные ноги девушки, и забавно стал говорить, что любит ее, а она неотрывно смотрела в лицо ему, закинув руки за голову.

— Когда баран отведаёт редьки, у него вырастают крылья, — говорил Леонид.

— Нет, это неправда, — серьезно сказала девушка.

— Я тебе говорю, что она понимает что-то! — закричал Леонид в пьяной радости. Через несколько минут он вышел из комнаты, я дал девице денег и попросил ее уговорить Леонида ехать кататься. Она сразу согласилась:

— Я боюсь его. Такие стреляют из пистолетов, — бормотала она.

Девушка, игравшая на гитаре, уснула, сидя на полу, около кушетки, где, всхрапывая, спала ее подруга.

Эстонка была уже одета, когда возвратился Леонид; он начал бунтовать, крича:

— Не хочу! Да будет пир плоти!

И попытался раздеть девушку; отбиваясь, она так упрямо смотрела в глаза ему, что взгляд ее укротил Леонида, он согласился.

— Едем!

Но захотел надеть дамскую шляпу à la Рембрандт и уже сорвал с нее все перья.

— Это вы заплатите за шляпу? — деловито спросила девушка.

Леонид поднял брови и захохотал, крича:

— Дело — в шляпе! Ура!

На улице мы наняли извозчика и поехали сквозь туман. Было еще не поздно, едва за полночь. Невский, в огромных бусах фонарей, казался дорогой куда-то вниз, в глубину, вокруг фонарей мелькали мокрые пылинки, в серой сырости плавали черные рыбы, стоя на хвостах; полусферию зонтиков, казалось, поднимают людей вверх, — все было очень призрачно, странно и грустно.

На воздухе Андреев совершенно озянул, задремал, покачиваясь; девушка шепнула мне:

— Я слезу, да?

И, спрыгнув с колен моих в жидкую грязь улицы, исчезла.

В конце Каменноостровского проспекта Леонид спросил, испуганно открыв глаза:

— Едем? Я хочу в кабак. Ты прогнал эту?

— Ушла.

— Врешь. Ты — хитрый. Я — тоже. Я ушел из комнаты, чтобы посмотреть, что ты будешь делать, стоял за дверью и слышал, как ты уговаривал ее. Ты вел себя невинно и благородно. Ты вообще нехороший человек, пьешь много, а не пьянеешь, от этого дети твои будут алкоголиками. Мой отец тоже много пил и не пьянел, а я — алкоголик.

Потом мы сидели на «Стрелке» под дурацким пузырем тумана, курили, и, когда вспыхивал огонек папирос, — видно было, как сереют наши пальто, покрываясь тусклым бисером сырости.

Леонид говорил с неограниченной откровенностью, и это не была откровенность пьяного, — его ум почти не пьянел до момента, пока яд алкоголя совершенно прекращал работу мозга.

— Если бы я остался с девками, это кончилось бы плохо для кого-то. Всё так. Но — за это я тебя и не люблю, именно за это! Ты мешаешь мне

быть самим собою. Оставь меня — я буду шире. Ты, может быть, обруч на бочке, уйдешь и — бочка рассыплется, но — пускай рассыплется, — понимаешь? Ничего не надо сдерживать, пусть все разрушается. Может быть, истинный смысл жизни именно в разрушении чего-то, чего мы не знаем — или — всего, что придумано и сделано нами.

Темные глаза его угрюмо упирались в серую массу вокруг него и над ним, иногда он их опускал к земле, мокрой, усыпанной листьями, и топал ногами, словно пробуя прочность земли.

— Я не знаю, — что ты думаешь, но — то, что ты всегда говоришь, не твоей веры, не твоей молитвы слова. Ты говоришь, что все силы жизни исходят от нарушения равновесия, а сам ищешь именно равновесия, какой-то гармонии и меня толкаешь на это, тогда как — по-твоему же — равновесие — смерть.

Я возражал: никуда я не толкаю его, не хочу толкать, но — мне дорога его жизнь, здоровье дорого, работа его.

— Тебе приятна только моя работа, — мое внешнее, — а не сам я, не то, чего я не могу воплотить в работе. Ты мешаешь мне и всем, иди в болото!

Навалился на плечо мне и, с улыбкой заглядывая в лицо, продолжал:

— Ты думаешь, я пьян и не понимаю, что говорю чепуху? Нет, я просто хочу разозлить тебя. Я, брат, декадент, выродок, большой человек. Но Достоевский был тоже большой, как все великие люди. Есть книжка, — не помню, чья, — о гении и безумии, в ней доказано, что гениальность — психическая болезнь ^{18!} Эта книга — испортила меня. Если бы я не читал ее, — я был бы проще. А теперь я знаю, что почти гениален, но не уверен в том, — достаточно ли безумен? Понимаешь, — я сам себе представляюсь безумным, чтоб убедить себя в своей талантливости, — понимаешь?

Я — засмеялся. Это показалось мне плохо выдуманным и потому неправдивым.

Когда я сказал ему это, он тоже захохотал и вдруг гибким движением души, акробатически ловко перескочил в тон юмориста:

— А — где кабак, место священнодействий литературных? Талантливые русские люди обязательно должны беседовать в кабаке, — такова традиция, без этого критики не признают таланта.

Сидели в ночном трактире извозчиков, в сырой, дымной духоте: по грязной комнате сердито и устало ходили сонные «человеки», «математически» ругались пьяные, визжали страшные проститутки, одна из них, обнажив левую грудь — желтую, с огромным соском коровы, — положила ее на тарелку и поднесла нам, предлагая:

— Купите фунтик?

— Люблю бесстыдство, — говорил Леонид, — в цинизме я ощущаю печаль, почти отчаяние человека, который сознает, что он не может не быть животным, хочет не быть, а не может! Понимаешь?

Он пил крепкий, почти черный чай, зная, что так нравится ему и отрезвляет его, — я нарочно велел заварить больше чая. Прихлебывая дегтеподобную, горькую жидкость, щупая глазами вспухшие лица пьяниц, Леонид непрерывно говорил:

— С бабами — я циничен. Так — правдивее, и они это любят. Лучше быть законченным грешником, чем праведником, который не может домолиться до полной святости.

Оглянулся, помолчал и говорит:

— А здесь — скучно, как в духовной консистории!

Это рассмешило его.

— Я никогда не был в духовной консистории, в ней должно быть что-то, похожее на рыбный садок...



НИЖНИЙ-НОВГОРОД

Фотография 1890-х годов

Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва



НИЖНИЙ-НОВГОРОД

Фотография 1890-х годов

Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва

Чай отрезвил его. Мы ушли из трактира. Туман сгустился, опаловые шары фонарей таяли, как лед.

— Мне хочется рыбы,— сказал Леонид, облокотясь на перила моста через Неву, и оживленно продолжал:— Знаешь, как бывает со мной? Вероятно — так дети думают,— наткнется на слово — рыба и подбирают созвучные ему:— рыба, гроба, судьба, иго, Рига,— а вот стихи писать — не могу!

Подумав, он добавил:

— Так же думают составители букварей...

Снова сидели в трактире, угощаясь рыбной солянкой, Леонид рассказывал, что его приглашают «декаденты» сотрудничать в «Весах».

— Не пойду, не люблю их. У них за словами я не чувствую содержания, они «опьяняются» словами, как любит говорить Бальмонт. Тоже — талантлив и — больной.

В другой раз,— помню,— он сказал о группе «Скорпиона»:

— Они насилуют Шопенгауэра, а я люблю его и потому ненавижу их.

Но это слишком сильное слово в его устах,— ненавидеть он не умел, был слишком мягок для этого. Как-то показал мне в дневнике своем «слова ненависти», но — они оказались словами юмора, и он сам искренно смеялся над ними.

Я отвез его в гостиницу, — уложил спать, но, зайдя после полудня, узнал, что он, тотчас после того как я ушел, встал, оделся и тоже исчез куда-то. Я искал его целый день, но не нашел.

Он непрерывно пил четыре дня и потом уехал в Москву.

У него была неприятная манера испытывать искренность взаимных отношений людей; он делал это так: неожиданно, между прочим спрашивает:

— Знаешь, что Z сказал про тебя?— или сообщает:

— А S говорит о тебе...

И темным взглядом, испытывая, заглядывает в глаза.

Однажды я сказал ему:

— Смотри,— так ты можешь перессорить всех товарищей!

— Ну, что же?— ответил он.— Если ссорятся из-за пустяков, значит — отношения были неискренни.

— Чего ты хочешь?

— Прочности, такой — знаешь — монументальности, красоты отношений. Надо, чтобы каждый из нас понимал, как тонко кружево души, как нежно и бережливо следует относиться к ней. Необходим некоторый романтизм отношений, в кружке Пушкина он был, и я этому завидую. Женщины чутки только к эротике, Евангелие бабы — Декамерон.

Но через полчаса он осмелел свой отзыв о женщинах, уморительно изобразив беседу эротомана с гимназисткой.

Он не выносил Арцыбашева и порою с грубой враждебностью высмеивал его именно за одностороннее изображение женщины как начала исключительно чувственного.

Однажды он мне рассказал такую историю: когда ему было лет одиннадцать, он увидел где-то в роще или в саду, как дьякон целовался с барышней.

— Они целовались и оба плакали,— говорил он, понизив голос и съезживаясь; когда он рассказывал что-нибудь интимное, он напряженно сжимал свою несколько рыхлую мускулатуру.— Барышня была такая, знаешь, тоненькая, хрущкая, на соломенных ножках, дьякон — толстый, ряса на животе засалена и лоснится. Я уже знал, зачем целуются, но первый раз видел, что, целуясь, плачут, и мне было смешно. Борода

дьякона зацепилась за крючки расстегнутой кофты, он замотал головой, я свистнул, чтобы испугать их, испугался сам и — убежал. Но в тот же день вечером почувствовал себя влюбленным в дочь мирового судьи, девчонку лет десяти, ощущал ее, груди у нее не оказалось, значит целовать нечего, и она не годится для любви. Тогда я влюбился в горничную соседней, коротконогую, без бровей, с большими грудями, — кофта ее на груди была так же засалена, как ряса на животе дьякона. Я очень решительно приступил к ней, а она меня решительно оттрепала за ухо. Но это не помешало мне любить ее, она казалась мне красавицей и чем далее, тем больше. Это было почти мучительно и очень сладко. Я видел много девиц действительно красивых и умом хорошо понимал, что возлюбленная моя — урод сравнительно с ними, а все-таки для меня она оставалась лучше всех. Мне было хорошо, потому что я знал: никто не мог бы любить так, как умею я, белобрысую толстую девку, никто — понимаешь, — не сумел бы видеть ее красивее всех красавиц.

Он рассказал это превосходно, насытив слова свои милым юмором, который я не умею передать; как жаль, что, всегда хорошо владея им в беседе, он пренебрегал или боялся украшать его игрой свои рассказы, — боялся, видимо, нарушить красками юмора темные тона своих картин.

Когда я сказал: жаль, что он забыл, как хорошо удалось ему сотворить из коротконогой горничной первую красавицу мира, что он не хочет больше извлекать из грязной руды действительно золотые жилы красоты, — он комически-хитро прищурился, говоря:

— Ишь ты, какой лакомый! Нет, я не намерен баловать вас, романтиков...

Невозможно было убедить его в том, что именно он — романтик.

На «Собрании сочинений», которое Леонид подарил мне в 1915 г., он написал:

«Начиная с курьерского „Баргамота“, здесь все писалось и прошло на твоих глазах, Алексей: во многом это — история наших отношений»¹⁹.

Это, к сожалению, верно; к сожалению — потому, что я думаю: для Л. Андреева было бы лучше, если бы он не вводил в свои рассказы «историю наших отношений». А он делал это слишком охотно и, торопясь «опровергнуть» мои мнения, портил этим свои обедни. И как будто именно в мою личность он воплотил своего невидимого врага.

— Я написал рассказ, который, наверное, не понравится тебе, — сказал он однажды. — Прочитаем?

Прочитали. Рассказ очень понравился мне, за исключением некоторых деталей.

— Это пустяки, это я исправлю, — оживленно говорил он, расхаживая по комнате, шаркая туфлями. Потом сел рядом со мною и, откинув свои волосы, заглянул в глаза мне.

— Вот, я знаю, чувствую, ты искренно хвалишь рассказ. Но — я не понимаю, как может он нравиться тебе?

— Мало ли на свете вещей, которые не нравятся мне, однако это не портит их, как я вижу.

— Рассуждая так, нельзя быть революционером.

— Ты что же, смотришь на революционера глазами Нечаева —²⁰ «революционер — не человек»?

Об обнял меня, засмеялся:

— Ты плохо понимаешь себя. Но — слушай, — ведь когда я писал «Мысль», я думал о тебе; Алексей Савелов — это ты! Там есть одна фраза: «Алексей не был талантлив» — это, может быть, нехорошо с моей стороны, но ты своим упрямством так раздражаешь меня иногда, что кажешься мне неталантливым. Это я нехорошо написал, да?

Он волновался, даже покраснел.

Я успокоил его, сказав, что не считаю себя арабским конем, а только ломовой лошастью; я знаю, что обязан успехами моими не столько природной талантливости, сколько умению работать, любви к труду.

— Странный ты человек,— тихо сказал он, прервав мои слова, и вдруг, отрешившись от пустяков, задумчиво начал говорить о себе, о волнении души своей. Он не имел общерусской, неприятной склонности исповедываться и каяться, но иногда ему удавалось говорить о себе с откровенностью мужественной, даже несколько жесткой, однако — не теряя самоуважения. И это было приятно в нем.

— Понимаешь,— говорил он,— каждый раз, когда я напишу что-либо особенно волнующее меня,— с души моей точно кора спадает, я вижу себя яснее и вижу, что я талантливее написанного мной. Вот — «Мысль». Я ждал, что она поразит тебя, а теперь сам вижу, что это, в сущности, полемическое произведение, да еще не попавшее в цель.

Вскочил на ноги и полупутя заявил, встряхнув волосами:

— Я боюсь тебя, злодей! Ты — сильнее меня, я не хочу поддаваться тебе.

И снова серьезно:

— Чего-то не хватает мне, брат. Чего-то очень важного,— а? Как ты думаешь?

Я думал, что он относится к таланту своему непростительно небрежно и что ему не хватает знаний.

— Надо учиться, читать, надо ехать в Европу...

Он махнул рукой.

— Не то. Надо найти себе бога и поверить в мудрость его.

Как всегда, мы заспорили. После одного из таких споров он прислал мне корректуру рассказа «Стена». А по поводу «Призраков» он сказал мне:

— Безумный, который стучит, это — я, а деятельный Егор — ты. Тебе действительно присуще чувство уверенности в силе твоей, это и есть главный пункт твоего безумия и безумия всех подобных тебе романтиков, идеализаторов разума, оторванных мечтой своей от жизни.

Скверный шум, вызванный рассказом «Бездна», расстроил его ²¹. Люди, всегда готовые услужить улице, начали писать об Андрееве различные гадости, доходя в сочинении клеветы до комизма: так, один поэт напечатал в харьковской газете, что Андреев купался со своей невестой без костюмов. Леонид обиженно спрашивал:

— Что же он думает,— во фраке, что ли, надо купаться? И ведь врёт, не купался я ни с невестой, ни соло, весь год не купался — негде было. Знаешь, я решил напечатать и расклеить по заборам покорнейшую просьбу к читателям — краткую просьбу:

— Будьте любезны,—

Не читайте «Бездны»!

Он был чрезмерно, почти болезненно внимателен к отзывам о его рассказах и всегда, с грустью или с раздражением, жаловался на варварскую грубость критиков и рецензентов, а однажды даже в печати жаловался на враждебное отношение критики к нему лично как человеку.

— Не надо этого делать, — советовали ему.

— Нет, нужно, а то они, стараясь исправить меня, уши мне отрежут или кипятком ошпарят...

Его жестоко мучил наследственный алкоголизм; болезнь проявлялась сравнительно редко, но почти всегда в формах очень тяжелых. Он боролся

с нею, борьба стоила ему огромных усилий, но порой, впадая в отчаяние, он осмеивал эти усилия.

— Напишу рассказ о человеке, который с юности двадцать пять лет боялся выпить рюмку водки, потерял из-за этого множество прекрасных часов жизни, испортил себе карьеру и умер во цвете лет, неудачно срезав себе мозоль или занозив себе палец.

И действительно, приехав в Нижний ко мне, он привез с собою рукопись рассказа на эту тему²².

В Нижнем Леонид Николаевич встретил отца Феодора Владимирского, протоиерея города Арзамаса, а впоследствии члена Второй Государственной думы, — человека замечательного²³. Когда-нибудь я попробую написать его житие, а пока нахожу необходимым кратко очертить главный подвиг его жизни.

Город Арзамас чуть ли не со времени Ивана Грозного пил воду из прудов, где летом плавали трупы утопших крыс, кошек, кур, собак, а зимою, подо льдом, вода протухала, приобретая тошнотворный запах. И вот отец Феодор, поставив себе целью снабдить город здоровой водой, двенадцать лет самолично исследовал почвенные воды вокруг Арзамаса. Из года в год каждое лето он, на восходе солнца, бродил, точно колдун, по полям и лесам, наблюдая, где земля «преет». И после долгих трудов нашел подземные ключи, проследил их течение, перекопал, направил в лесную ложбину за три версты от города и, получив на десять тысяч жителей свыше сорока тысяч ведер превосходной ключевой воды, предложил городу устроить водопровод. У города был капитал, завещанный одним купцом условно или на водопровод, или на организацию кредитного общества. Купечество и начальство, добывая воду бочками на лошадях из дальних ключей за городом, в водопроводе не нуждалось и, всячески затрудняя работу отца Феодора, стремилось употребить капитал на основание кредитного общества, а мелкие жители хлебали тухлую воду прудов, оставаясь — по привычке, издревле усвоенной ими — безучастны и бездеятельны. Итак, найдя воду, отец Феодор принужден был вести длительную и скучную борьбу с упрямым своекорыстием богатых и подленькой глупостью бедняков.

Приехав в Арзамас под надзор полиции, я застал его в конце работы по собиранию источников. Этот человек, истощенный каторжным трудом и несчастьями, был первым арзамасцем, который решился познакомиться со мной, — мудрое арзамасское начальство, строжайше запретив земским и другим служащим людям посещать меня, учредило, на страх им, полицейский пост прямо под окнами моей квартиры.

Отец Феодор пришел ко мне вечером, под проливным дождем, весь — с головы до ног — мокрый, испачканный глиной, в тяжелых мужицких сапогах, сером подряснике и выцветшей шляпе — она до того размокла, что сделалась похожей на кусок грязи. Крепко сжав руку мою мозолистой и жесткой ладонью землянокопа, он сказал угрюмым баском:

— Это вы, нераскаянный грешник, коего сунули нам исправления вашего ради? Вот мы вас исправим! Чаем угостить можете?

В седой бородке спрятано сухонькое личико аскета, из глубоких глазниц кротко сияет улыбка умных глаз.

— Прямо из леса зашел. Нет ли чего — переодеться мне?

Я уже много слышал о нем, знал, что сын его — политический эмигрант, одна дочь сидит в тюрьме «за политику», другая усиленно готовится попасть туда же²⁴, знал, что он затратил все свои средства на поиски воды, заложил дом, живет, как нищий, сам копает канавы в лесу, забывая их глиной, а когда сил у него не хватало, — Христа ради просил окрестных мужиков помочь ему. Они — помогали, а городской обыватель, скептически следя за работой «чудака» пона, пальцем о палец не ударил в помощь ему.

Вот с этим человеком Леонид Андреев и встретился у меня.

Октябрь, сухой, холодный день, дул ветер, по улице летели какие-то бумажки, птичьи перья, облупки лука. Пыль скреблась в стекла окон, с поля на город двигалась огромная дождевая туча. В комнату к нам неожиданно вошел отец Феодор, протирая запыленные глаза, лохматый, сердитый, ругая вора, укравшего у него саквояж и зонтик, губернатора, который не хочет понять, что водопровод полезнее кредитного общества, — Леонид широко открыл глаза и шепнул мне:

— Это что?

Через час, за самоваром, он, буквально разинув рот, слушал, как протоиерей нелепого города Арзамаса, пристукивая кулаком по столу, порицал гностиков за то, что они боролись с демократизмом церкви, стремясь сделать учение о богопознании недоступным разуму народа.

— Еретики эти считали себя высшего познания искателями, аристократами духа, — а не народ ли, в лице мудрейших водителей своих, суть воплощение мудрости божией и духа его?

«Докеты», «офиты», «плерома», «Карпократ», — гудел отец Феодор, а Леонид, толкая меня локтем, шептал:

— Вот олицетворенный ужас арзамасский!

Но вскоре он уже размахивал рукою пред лицом отца Феодора, доказывая ему бессилие мысли, а священник, встряхивая бородой, возражал.

— Не мысль бессильна, а неверие.

— Оно является сущностью мысли...

— Софизмы сочиняете, господин писатель...

По стеклам окон хлещет дождь, на столе курлыкает самовар, старый и малый ворошат древнюю мудрость, а со стены вдумчиво смотрит на них Лев Толстой с палочкой в руке, великий странник мира сего. Ниспровергнув все, что успели, мы разошлись по комнатам далеко за полночь, я уже лег в постель с книгой в руках, но в дверь постучали, и явился Леонид, встрепанный, возбужденный, с расстегнутым воротом рубахи, сел на постель ко мне и заговорил, восхищаясь:

— Вот так поп! Как он меня обнаружил, а?

И вдруг на глазах у него сверкнули слезы.

— Счастливы ты, Алексей, чёрт тебя возьми! Всегда около тебя какие-то удивительно интересные люди, а я — одинок... или же вокруг меня толкуются...

Он махнул рукою. Я стал рассказывать ему о жизни отца Феодора, о том, как он искал воду, о написанной им «Истории Ветхого завета», рукопись которой у него отобрали по постановлению Синода, о книге «Любовь — закон жизни», тоже запрещенной духовной цензурой. В этой книге отец Феодор доказывал цитатами из Пушкина, Гюго и других поэтов, что чувство любви человека к человеку является основой бытия и развития мира, что оно столь же могущественно, как закон всеобщего притяжения, и во всем подобно ему.

— Да, — задумчиво говорил Леонид, — надо мне поучиться кое-чему, а то стыдно перед попом...

Снова постучали в дверь — вошел отец Феодор, запахивая подрясник, босый, печальный.

— Не спите? А я того... пришел! Слышу, говорят, пойду, мол — извинюсь! Покричал я на вас резковато, молодые люди, так вы не обижайтесь. Лег, подумал про вас — хорошие человеки, ну, решил, — что я напрасно горячился. — Вот — пришел — простите! Иду спать...

Забрались оба на постель ко мне, и снова началась бесконечная беседа о жизни. Леонид хохотал и умилялся:

— Нет, какова наша Россия?.. «Позвольте, — мы еще не решили вопроса о бытии бога, а вы обедать зовете»²⁵. Это же — не Белинский го-

ворит это — вся Русь говорит Европе, ибо Европа, в сущности, зовет нас обедать, сытно есть, — не более того!

А отец Феодор, кутая подрясником тонкие, костяные ноги, улыбаясь, возражал:



АНДРЕЕВ И М. И. МИХАЙЛИЧЕНКО — РАБОЧИЙ, ДЕПУТАТ
1-Й ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ (ВЫБОРЖЕЦ)

Фотография. Гельсингфоре, митинг Красной гвардии, 9 июля 1906 г.

На втором плане А. Н. Андреева (мать писателя) и И. Г. Гомартели — депутат 1-й
Государственной думы (выборжец)

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

— Однако Европа все-ж-таки мать крестная нам, — не забудьте! Без Вольтеров ее и без ее ученых — мы бы с вами не состязались в знаниях философических, а безмолвно блины кушали бы и — только всего!

На рассвете отец Феодор простился и часа через два уже исчез хлопотать о водопроводе арзамасском, а Леонид, проспав до вечера, — вечером говорил мне:

— Ты подумай — кому, для чего нужно, чтоб в тухлом каком-то городе жил умница-поп, энергичный и интересный? И почему именно поп —

умница в этом городе, а? Какая ерунда! Знаешь — жить можно только в Москве, — уезжай отсюда. Скверно тут, — дождь, грязь...

И тотчас же стал собираться домой...

На вокзале он сказал:

— А все-таки этот поп — недоразумение. Анекдот!

Он довольно часто жаловался, что почти не видит людей значительных, оригинальных.

— Ты, вот, умеешь находить их, а за меня всегда цепляется какой-то репейник, и таскаю я его на хвосте моем — зачем?

Я рассказал о людях, знакомство с которыми было бы полезно ему — о людях высокой культуры или оригинальной мысли, говорил о В. В. Розанове и других. Мне казалось, что знакомство с Розановым было бы особенно полезно для Андреева. Он удивлялся:

— Не понимаю тебя!

И говорил о консерватизме Розанова, чего мог бы и не делать, ибо в существе духа своего был глубоко равнодушен к политике, лишь изредка обнаруживая приступы внешнего любопытства к ней. Его основное отношение к политическим событиям он выразил наиболее искренно в рассказе: «Так было — так будет»²⁶.

Я пытался доказать ему, что учиться можно у чёрта и вора так же, как у святого отшельника, и что изучение не значит — подчинение.

— Это не совсем верно, — возражал он, — вся наука представляет собою подчинение факту. А Розанова я не люблю.

Иногда казалось, что он избегает личных знакомств с крупными людьми потому, что боится влияния их; встретится раз, два с одним из таких людей, иногда горячо расхвалит человека, но вскоре теряет интерес к нему и уже не ищет новых встреч.

Так было с Саввой Морозовым, — после первой длительной беседы с ним Леонид Андреев, восхищаясь тонким умом, широкими знаниями и энергией этого человека, называл его Ермак Тимофеевич, говорил, что Морозов будет играть огромную политическую роль:

— У него лицо татарина, но это, брат, английский лорд!

Но знакомства с ним не продолжил. И так же было с А. А. Блоком.

Я пишу, как подсказывает память, не заботясь о последовательности. о «хронологии».

В «Художественном театре», когда он помещался еще в Каретном ряду, Леонид Николаевич познакомил меня со своей невестой — худенькой, хрупкой барышней, с милыми, ясными глазами. Скромная, молчаливая, она показалась мне безличной, но вскоре я убедился, что это человек умного сердца.

Она прекрасно поняла необходимость материнского, бережного отношения к Андрееву, сразу и глубоко почувствовала значение его таланта и мучительные колебания его настроений. Она — из тех редких женщин, которые, умея быть страстными любовницами, не теряют способности любить любовью матери; эта двойная любовь вооружила ее тонким чутьем, и она прекрасно разбиралась в подлинных жалобах его души и звонких словах капризного настроения минуты.

Как известно, русский человек «ради красного словца не жалеет ни матери, ни отца». Леонид Николаевич тоже весьма увлекался красным словом и порою сочинял изречения весьма сомнительного тона.

«Через год после брака жена точно хорошо разношенный бапмак, — его не чувствуешь», — сказал он однажды при Александре Михайловне. Она умела не обращать внимание на подобное словотворчество, а порою даже находила эти шалости языка остроумными и ласково смеялась. Но, обладая в высокой степени чувством уважения к себе самой, она могла —

если это было нужно ей — показать себя очень настойчивой, даже непоколебимой. У нее был тонко развит вкус к музыке слова, к форме речи. Маленькая, гибкая, она была изящна, а иногда как-то забавно, по-детски важна, — я прозвал ее «Дама Шура», это очень нравилось ей.

Леонид Николаевич ценил ее, а она жила в постоянной тревоге за него, в непрерывном напряжении всех сил своих, совершенно жертвуя личностью своей интересам мужа.

В Москве у Андреева часто собирались литераторы, было очень тесно, уютно, милые глаза «Дамы Шуры», ласково улыбаясь, несколько сдерживали «широту» русских натур. Часто бывал Ф. И. Шаляпин, восхищая всех своими рассказами.

Когда расцветал «модернизм», пытались понять его, но больше — осуждали, что гораздо проще делать. Серьезно думать о литературе было некогда, на первом плане стояла политика. Блок, Белый, Брюсов казались какими-то «уединенными пешехонцами», в лучшем мнении — чудаками, в худшем — чем-то вроде изменников «великим традициям русской общественности». Я тоже так думал и чувствовал. Время ли для «симфонии»²⁷, когда вся Русь мрачно готовится плясать трепака? События развивались в направлении катастрофы, признаки ее близости становились все более грозными, эсеры бросали бомбы, и каждый взрыв сотрясал всю страну, вызывая напряженное ожидание коренного переворота социальной жизни. В квартире Андреева происходили заседания ЦК социал-демократов большевиков, и однажды весь комитет вместе с хозяином квартиры был арестован и отвезен в тюрьму²⁸.

Просидев в тюрьме с месяц, Леонид Николаевич вышел оттуда точно из купели Силоамской²⁹ — бодрый, веселый.

— Это хорошо, когда тебя сожмут, — хочешь всесторонне расширяться! — говорил он.

И смеялся надо мной:

— Ну, что, пессимист? А ведь Россия-то оживает? А ты рифмовал: самодержавие — ржавая.

Он печатал рассказы «Марсельеза», «Набат», «Рассказ, который никогда не будет кончен»³⁰, но уже в октябре 1905 г. прочитал мне в рукописи «Так было».

— Не преждевременно ли? — спросил я.

Он ответил:

— Хорошее всегда преждевременно...

Вскоре он уехал в Финляндию и хорошо сделал — бессмысленная жестокость декабрьских событий раздавила бы его. В Финляндии он вел себя политически активно³¹: выступал на митинге, печатал в газетах Гельсингфорса резкие отзывы о политике монархистов, но настроение у него было подавленное, взгляд на будущее — безнадежен. В Петербурге я получил письмо от него; он писал между прочим:

«У каждой лошади есть свои врожденные особенности, у наций — тоже. Есть лошади, которые со всех дорог сворачивают в кабак, — наша родина свернула к точке наиболее любезной ей и снова долго будет жить распивочно и на вынос»³².

Через несколько месяцев мы встретились в Швейцарии, в Монтрэ. Леонид издевался над жизнью швейцарцев.

— Нам, людям широких плоскостей, не место в этих тараканьих щелях, — говорил он.

Мне показалось, что он несколько поблек, потускнел, в глазах его остеклело выражение усталости и тревожной печали. О Швейцарии он говорил так же плоско, поверхностно и то же самое, что издавна призывали говорить об этой стране свободолюбивые люди из Чухломы,

Конотопа и Тетюш. Один из них определил русское понятие свободы глубоко и метко такими словами:

«Мы в вашем городе живем, как в бане — без поправок, без стеснения». О России Леонид Николаевич говорил скучно и нехотя и однажды, сидя у камина, вспомнил несколько строк горестного стихотворения Якубовича «Родине»:

За что любить тебя, какая ты нам мать?

— Написал я пьесу,— прочитаем?

И вечером он прочитал «Савву».

Еще в России, слушая рассказы о юноше Уфимцеве³³ и товарищах его, которые пытались взорвать икону Курской богородицы, — Андреев решил обработать это событие в повесть и тогда же, сразу, очень интересно создал план повести, выпукло очертил характеры. Его особенно увлекал Уфимцев, поэт в области научной техники, юноша, обладавший несомненным талантом изобретателя. Сосланный в Семиреченскую область, кажется, в Каркаралы, живя там под строгим надзором людей невежественных и суеверных, не имея необходимых инструментов и материалов, он изобрел оригинальный двигатель внутреннего сгорания, усовершенствовал циклопиль, работал над новой системой драги, придумал какой-то «вечный патрон» для охотничьих ружей. Чертежи его двигателей я показывал инженерам в Москве, и они говорили мне, что изобретение Уфимцева очень практично, остроумно и талантливо. Не знаю, какова судьба всех этих изобретений, — уехав за границу, я потерял Уфимцева из виду.

Но я знал, что этот юноша из ряда тех прекрасных мечтателей, которые, — очарованные своей верой и любовью, — идут разными путями к одной и той же цели — к возбуждению в народе своей разумной энергии, творящей добро и красоту.

Мне было грустно и досадно видеть, что Андреев искажил этот характер, еще не тронутый русской литературой, мне казалось, что в повести, как она была задумана, характер этот найдет и оценку и краски, достойные его. Мы поспорили, и, может быть, я несколько резко говорил о необходимости точного изображения некоторых — наиболее редких и положительных — явлений действительности.

Как все люди определенно очерченного «я», острого ощущения своей «самости», Леонид Николаевич не любил противоречия, он обиделся на меня, и мы расстались холодно.

Кажется, в 907 или 8-м году³⁴ Андреев приехал на Капри, похоронив «Даму Шуру» в Берлине, — она умерла от послеродовой горячки. Смерть умного и доброго друга очень тяжело отразилась на психике Леонида. Все его мысли и речи сосредоточенно вращались вокруг воспоминаний о бессмысленной гибели «Дамы Шуры».

— Понимаешь, — говорил он, странно расширяя зрачки, — лежит она еще живая, а дышит уже трупным запахом. Это очень иронический запах.

Одетый в какую-то черную бархатную куртку, он даже и внешне казался измятым, раздавленным. Его мысли и речи были жутко сосредоточены на вопросе о смерти. Случилось так, что он поселился на вилле Карачиолло, принадлежавшей вдове художника, потомка маркиза Карачиолло, сторонника французской партии, казненного Фердинандом Бомбой. В темных комнатах этой виллы было сыро и мрачно, на стенах висели незаконченные грязноватые картины, напоминая о пятнах плесени. В одной из комнат был большой законченный камин, а перед

окнами ее, затеняя их, густо разросся кустарник; в стекла со стен дома заглядывал плющ. В этой комнате Леонид устроил столовую.

Как-то под вечер, придя к нему, я застал его в кресле пред камином. Одетый в черное, весь в багровых отсветах тлеющего угля, он держал на коленях сына своего, Вадима, и вполголоса, всхлипывая, говорил ему что-то. Я вошел тихо; мне показалось, что ребенок засыпает, я сел в кресло у двери и слышу: Леонид рассказывает ребенку о том, как смерть ходит по земле и душит маленьких детей.



ГОРЬКИЙ С СЫНОМ АНДРЕЕВА ВАДИМОМ

Фотография Андреева, Капри, 1907 г.

Собрание В. Л. Андреева, Женевы

— Я боюсь,— сказал Вадим.

— Не хочешь слушать?

— Я боюсь,— повторил мальчик.

— Ну, иди спать...

Но ребенок прижался к ногам отца и заплакал. Долго не удавалось нам успокоить его. Леонид был настроен истерически, его слова раздражали мальчика, он топал ногами и кричал:

— Не хочу спать! Не хочу умирать!

Когда бабушка увела его, я заметил, что едва ли следует пугать ребенка такими сказками, какова сказка о смерти, непобедимом великане.

— А если я не могу говорить о другом? — резко сказал он. — Теперь я понимаю, насколько равнодушна «прекрасная природа», и мне одного хочется — вырвать мой портрет из этой пошло-красивенькой рамки.

Говорить с ним было трудно, почти невозможно, он нервничал, сердился, и, казалось, нарочито растревлял свою боль.

— Меня преследует мысль о самоубийстве, мне кажется, что тень моя ползая за мной, шепчет мне: уйди, умри!

Это очень возбуждало тревогу друзей его, но иногда он давал понять, что вызывает опасения за себя сознательно и нарочито, как бы желая слышать еще раз, что скажут ему в оправдание и защиту жизни.

Но веселая природа острова, ласковая красота моря и милое отношение каприйцев к русским довольно быстро рассеяли мрачное настроение Леонида³⁵. Месяца через два его точно вихрем охватило страстное желание работать.

Помню — лунной ночью, сидя на камнях у моря, он встряхнул головой и сказал:

— Баста! Завтра с утра начинаю писать.

— Лучше этого тебе ничего не сделать.

— Вот именно.

И весело, — как он давно уже не говорил, — он начал рассказывать о планах своих работ.

— Прежде всего, брат, я напишу рассказ на тему о деспотизме дружбы, — уж расплачусь же я с тобой, злодей!

И тотчас, легко и быстро, сплел юмористический рассказ о двух друзьях, мечтателе и математике, — один из них всю жизнь рвется в небеса, а другой заботливо подсчитывает издержки воображаемых путешествий и этим решительно убивает мечты друга.

Но вслед за этим он сказал:

— Я хочу писать об Иуде, — еще в России я прочитал стихотворение о нем — не помню чье*, — очень умное³⁶. Что ты думаешь об Иуде?

У меня в то время лежал чей-то перевод тетралогии Юлиуса Векселя «Иуда и Христос», перевод рассказа Тора Гедберга³⁷ и поэма Голованова³⁸, — я предложил ему прочитать эти вещи.

— Не хочу, у меня есть своя идея, а это меня может запутать. Расскажи мне лучше — что они писали? Нет, не надо, не рассказывай.

Как всегда в моменты творческого возбуждения, он вскочил на ноги, — ему необходимо было двигаться.

— Идем!

Дорогой он рассказал содержание «Иуды», а через три дня принес рукопись. Этим рассказом он начал один из наиболее плодотворных периодов своего творчества. На Капри он затеял пьесу «Черные маски», написал злую юмореску «Любовь к ближнему», рассказ «Тьма», создал план «Сашки Жегулева»³⁹, сделал наброски пьесы «Океан» и написал несколько глав — две или три — повести «Мои записки»; все это в течение полугода. Эти серьезные работы и начинания не мешали Леониду Николаевичу принимать живое участие в сочинении пьесы «Увы», пьесы в классически-народническом духе, в стихах и прозе, с пением, плясками и всевозможным угнетением несчастных русских земледельцев. Содержание пьесы достаточно ясно характеризует перечень действовавших в ней лиц:

У г н е т о н — безжалостный помещик.

С в и р е п е я — таковая же супруга его.

Ф и л и с т е р и й — угнетонов брат, литераторишко прозаический.

Д е к а д е н т и й — неудачное чадо Угнетонова.

Т е р п и м о в — земледелец, весьма несчастен, но не всегда пьян.

С к о р б е л а — любимая супруга Терпимова; преисполнена кротости и здравого смысла, хоша беременная постоянно.

С т р а д а л а — прекрасная дочь Терпимова.

* А. Рославлева. — Прим. Горького.

Лу пом ор да — ужаснейший становой пристав. Купается в мундире и при орденах.

Рас ката й — несомненный урядник, а на самом деле — благородный граф Эдмон де Птие.

Мот ря Коло кол ы ч и к — тайная супруга графова, а в действительности испанская маркиза донна Кармен Нестерпима и Несносна, притворившаяся гитаной.

Г е н ь русского критика Скабичевского.

Г е н ь Каблицы-Юзова ⁴⁰.

А ф а н а с и й Щ а п о в ⁴¹, в совершенно трезвом виде.

«М ы г о в о р и л и» — группа личностей без речей и действий.

Место происшествия — «Голубые грязи», поместье Угнетонова, дважды заложенное в Дворянском банке и однажды еще где-то.

Был написан целый акт этой пьесы, густо насыщенный веселыми нелепостями. Прозаический диалог уморительно писал Андреев и сам хохотал, как дитя, над выдумками своими.

Никогда, ни ранее, ни после, я не видел его настроенным до такой высокой степени активно, таким необычно трудоспособным. Он как будто отрешился от своей неприязни к процессу писания и мог сидеть за столом день и ночь, полуодетый, растрепанный, веселый.

Его фантазия разгорелась удивительно ярко и плодотворно, — почти каждый день он сообщал план новой повести или рассказа.

— Вот когда, наконец, я взял себя в руки! — говорил он, торжествуя.

И расспрашивал о знаменитом пирате Барбароссе, о Томазо Аниелло, о контрабандистах, карбонариях, о жизни калабрийских пастухов.

— Какая масса сюжетов, какое разнообразие жизни, — восхищался он. — Да, эти люди накопили кое-что для потомства. А у нас: взял я как-то «Жизнь русских царей», читаю — едят! Стал читать «Историю русского народа» — страдают ⁴²! Бросил, обидно и скучно.

Но, рассказывая о затеях своих выпукло и красочно, писал он небрежно. В первой редакции рассказа «Иуда» у него оказалось несколько ошибок, которые указывали, что он не позаботился прочитать даже Евангелие. Когда ему говорили, что «герцог Спадаро» для итальянца звучит так же нелепо, как для русского звучало бы «князь Башмачников», а сен-бернардских собак в XII веке еще не было, — он сердился:

— Это пустяки.

— Нельзя сказать: «они пьют вино, как верблюды», не прибавив — воду!

— Ерунда!

Он относился к своему таланту, как плохой ездок к прекрасному коню, — безжалостно скакал на нем, но не любил, не холил. Рука его не успевала рисовать сложные узоры буйной фантазии, он не заботился о том, чтобы развить силу и ловкость руки. Иногда он и сам понимал, что это является великою помехой нормальному росту его таланта.

— Язык у меня костенеет, я чувствую, что мне все трудней находить нужные слова...

Он старался гипнотизировать читателя однотонностью фразы, но фраза его теряла убедительность красоты. Окутывая мысль ватой однообразно темных слов, он добивался того, что слишком обнажал ее, и казалось, что он пишет популярные диалоги на темы философии.

Изредка, чувствуя это, он огорчался:

— Паутина, — липко, но непрочно! Да, нужно читать Флобера; ты, кажется, прав; действительно, потомок одного из тех гениальных каменщиков, которые строили неразрушимые храмы средневековья!

На Капри Леониду сообщили эпизод, которым он воспользовался для рассказа «Тьма». Героем эпизода этого был мой знакомый, эсер⁴³. В действительности эпизод был очень прост: девица «дома терпимости», чутьем угадав в своем «госте» затравленного сыщиками, насильно загнанного к ней революционера, отнеслась к нему с нежной заботливостью матери и тактом женщины, которой вполне доступно чувство уважения к герою. А герой, человек, душевно неуклюжий, книжный, ответил на движение сердца женщины проповедью морали, напомнив ей о том, что она хотела забыть в этот час. Оскорбленная этим, она ударила его по щеке, — пощечина вполне заслуженная, на мой взгляд. Тогда, поняв всю грубость своей ошибки, он извинился перед нею и поцеловал руку ее, — мне кажется, последнего он мог бы и не делать. Вот и всё.

Иногда, — к сожалению, очень редко, — действительность бывает правдивее и краше даже очень талантливого рассказа о ней.

Так было и в этом случае, но Леонид неузнаваемо исказил и смысл и форму события. В действительности публичное дело не было ни мучительного и грязного издевательства над человеком и ни одной из тех жутких деталей, которыми Андреев обильно уснастил свой рассказ.

На меня это искажение подействовало очень тяжело: Леонид как будто отменил, уничтожил праздник, которого я долго и жадно ожидал. Я слишком хорошо знаю людей для того, чтобы не ценить — очень высоко — малейшее проявление доброго, честного чувства. Конечно, я не мог не указать Андрееву на смысл его поступка, который для меня был равносильен убийству из каприза, — злого каприза. Он напоминал мне о свободе художника, но это не изменило моего отношения, — я и до сего дня еще не убежден в том, что столь редкие проявления идеально-человеческих чувств могут произвольно исказиться художником в угоду догмы, излюбленной им.

Мы долго беседовали на эту тему, и хотя беседа носила вполне миролюбивый, дружеский характер, но все же с этого момента между мною и Андреевым что-то порвалось.

Конец этой беседы очень памятен мне.

— Чего ты хочешь? — спросил я Леонида.

— Не знаю, — ответил он, пожав плечами, и закрыл глаза.

— Но ведь есть же у тебя какое-то желание, — оно или всегда впереди других, или возникает более часто, чем все другие?

— Не знаю, — повторил он. — Кажется, — нет ничего подобного. Впрочем, иногда я чувствую, что для меня необходима слава, — много славы, столько, сколько может дать весь мир. Тогда я концентрирую ее в себе, сжимаю до возможных пределов, и, когда она получит силу взрывчатого вещества, — я взрываюсь, освещая мир каким-то новым светом. И после того люди начнут жить новым разумом. Видишь ли, — необходим новый разум, не этот лживый мошенник! Он берет у меня все лучшее плоти моей, все мои чувства и, обещая отдать с процентами, не отдает ничего, говоря: завтра! Эволюция, — говорит он.

А когда терпение мое истощается, жажда жизни душит меня, — революция, — говорит он. И обманывает грязно. И я умираю, ничего не получив.

— Тебе нужна вера, а не разум.

— Может быть. Но если так, то прежде всего — вера в себя.

Он возбужденно бегал по комнате, потом, присев на стол, размахивая рукою перед лицом моим, продолжал:

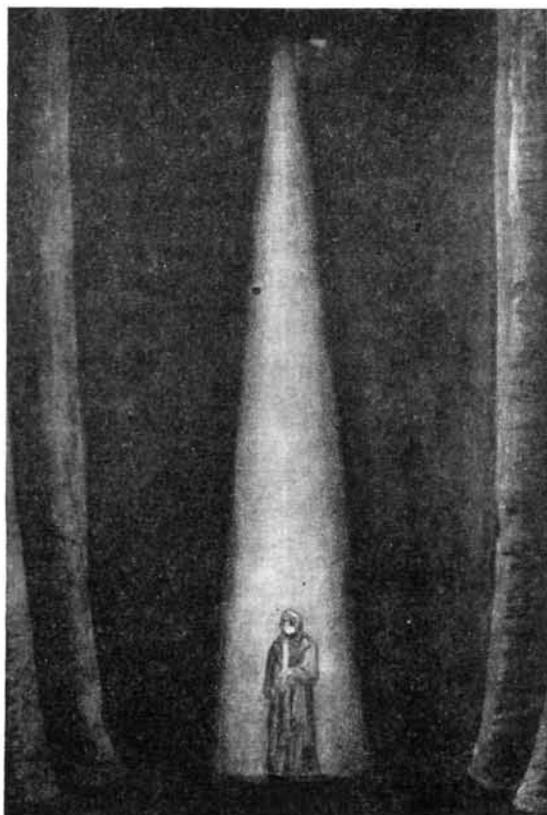
— Я знаю, что бог и дьявол только символы, но мне кажется, что вся жизнь людей, весь ее смысл в том, чтобы бесконечно, беспредельно расширять эти символы, питая их плотью и кровью мира. А вложив все

ДРАМА АНДРЕЕВА «ЖИЗНЬ
ЧЕЛОВЕКА» НА СЦЕНЕ ТЕАТРА
В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ.
ПЕТЕРБУРГ, 1907 г.

Постановка В. Э. Мейерхольда

«Пролог». Эскиз (акварель)
В. К. Коленда

Театральный музей им. А. А. Бах-
рушина, Москва



до конца силы свои в эти две противоположности, человечество исчезнет, они же станут плотскими реальностями и останутся жить в пустоте вселенной глаз на глаз друг с другом, непобедимые, бессмертные. В этом нет смысла? Но его нигде, ни в чем нет.

Он побледнел, у него дрожали губы, в глазах сухо блеснул ужас.

Потом он добавил вполголоса, бессильно:

— Представим себе дьявола — женщиной, бога — мужчиной, и они родят новое существо, — такое же, конечно, двойственное, как мы с тобой. Такое же...

Уехал он с Капри неожиданно; еще за день перед отъездом говорил о том, что скоро сядет за стол и месяца три будет писать, но в тот же день вечером сказал мне:

— А знаешь, я решил уехать отсюда. Надо все-таки жить в России, а то здесь одолевает какое-то оперное легкомыслие. Водевили писать хочется, водевили с пением. В сущности — здесь не настоящая жизнь, а — опера, здесь гораздо больше поют, чем думают. Ромео, Отелло и прочих в этом роде изобрел Шекспир, — итальянцы неспособны к трагедии. Здесь не мог бы родиться ни Байрон, ни Поэ.

— А Леопарди? ⁴⁴

— Ну, Леопарди... кто знает его? Это из тех, о ком говорят, но кого не читают.

Уезжая, он говорил мне:

— Это, Алексеюшка, тоже Арзамас, — веселенький Арзамас, не более того.

— А помнишь, как ты восхищался?

— До брака мы все восхищаемся. Ты скоро уедешь отсюда? Уезжай, пора. Ты становишься похожим на монаха...

Живя в Италии, я настроился очень тревожно по отношению к России. Начиная с 11-го года, вокруг меня уверенно говорили о неизбежности общеевропейской войны и о том, что эта война, наверное, будет роковой для русских. Тревожное настроение мое особенно усугублялось фактами, которые определенно указывали, что в духовном мире великого русского народа есть что-то болезненно-темное. Читая изданную Вольно-Экономическим Обществом книгу об аграрных беспорядках великорусских губерний, я видел, что эти беспорядки носили особенно жестокий и бессмысленный характер. Изучая по отчетам Московской судебной палаты характер преступлений населения Московского судебного округа, я был поражен направлением преступной воли, выразившимся в обилии преступлений против личности, а также в насилии над женщинами и растлении малолетних. А раньше этого меня неприятно поразил тот факт, что во Второй Государственной думе было очень значительное количество священников — людей наиболее чистой русской крови, но эти люди не дали ни одного таланта, ни одного крупного государственного деятеля. И было еще много такого, что утверждало мое тревожно-скептическое отношение к судьбе великорусского племени.

По приезде в Финляндию я встретился с Андреевым и, беседуя с ним, рассказал ему мои невеселые думы. Он горячо и даже как будто с обидою возражал мне, но возражения его показались мне неубедительными — фактов у него не было.

Но вдруг он, понизив голос, прищурился глаза, как бы напряженно всматриваясь в будущее, заговорил о русском народе словами, необычными для него, — отрывисто, бессвязно и с великой, несомненно искренней убежденностью.

Я не могу, — да если б и мог, не хотел бы воспроизвести его речь; сила его заключалась не в логике, не в красоте, а в чувстве мучительного сострадания к народу, в чувстве, на которое — в такой силе, в таких формах его — я не считал Леонида Николаевича способным.

Он весь дрожал в нервном напряжении и, всхлипывая, как женщина, почти рыдая, кричал мне:

— Ты называешь русскую литературу — областной, потому что большинство крупных русских писателей — люди Московской области? Хорошо, пусть будет так, но все-таки это — мировая литература, это — самое серьезное и могучее творчество Европы. Достаточно гения одного Достоевского, чтобы оправдать даже и бессмысленную, даже насквозь преступную жизнь миллионов людей. И пусть народ духовно болен, — будем лечить его и вспомним, что — как сказано кем-то: «лишь в больной раковине растет жемчужина».

— А красота зверя? — спросил я.

— А красота терпения человеческого, кротости и любви? — возразил он. И продолжал говорить о народе, о литературе все более пламенно и страстно.

Впервые говорил он так страстно, так лирически, раньше я слышал столь сильные выражения его любви только к талантам, родственным ему по духу, — к Эдгару Поэ чаще других.

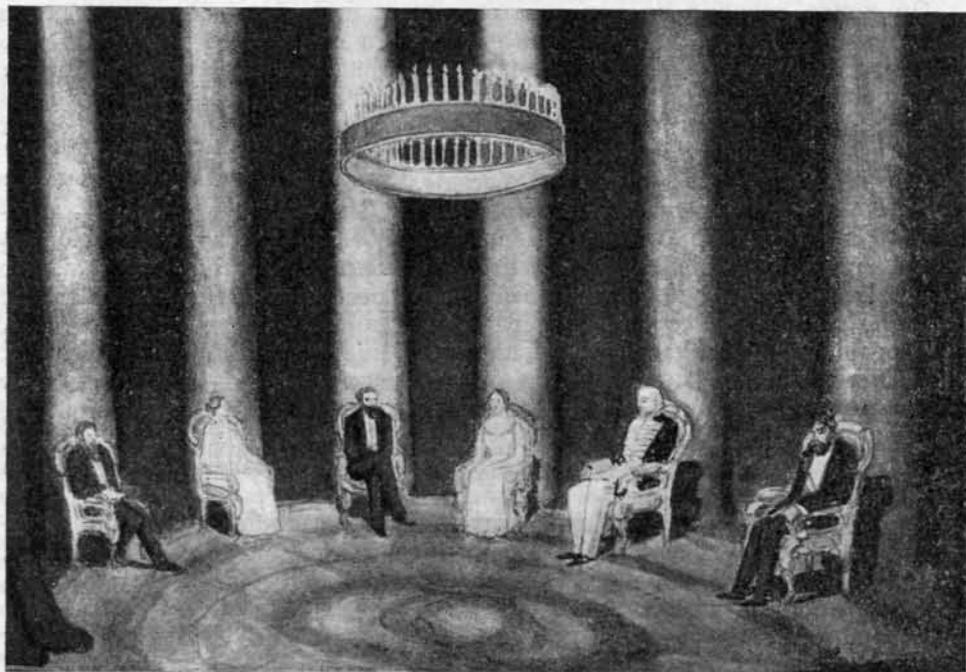
Вскоре после нашей беседы разразилась эта гнусная война, — отношение к ней еще более разъединило меня с Андреевым.

Лишь в 15-м году, когда из армии хлынула гнуснейшая волна антисемитизма, и Леонид, вместе с другими писателями, стал бороться против

распространения этой заразы, мы однажды поговорили. Усталый, настроенный дурно, он ходил по комнате, засунув одну руку за пояс брюк, другую размахивал в воздухе. Темные его глаза были угрюмы. Он спросил: — Можешь ты сказать откровенно, — что заставляет тебя тратить время на бесплодную борьбу с юдофобами?

Я ответил, что еврей, вообще, симпатичен мне, а симпатия — явление «биохимическое» и объяснению не поддается.

— А все-таки?



№ 5 ДРАМА АНДРЕЕВА «ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА» НА СЦЕНЕ ТЕАТРА
В. Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ, ПЕТЕРБУРГ, 1907 г.

Постановка В. Э. Мейерхольда

«Рождение человека». Эскиз (акварель) В. К. Коленда
Театральный музей им. А. А. Бахрушина, Москва

— Еврей — суть человек верующий, вера его — по преимуществу — качество, я люблю верующих, люблю фанатиков всюду — в науке, искусстве, политике. Хотя знаю: фанатизм нечто наркотическое, но наркотики — не действуют на меня. Прибавь к этому стыд русского за то, что в его доме — на родине его — непрерывно творится позорное и гнусное по отношению к еврею.

Леонид тяжело привалился на диван, говоря:

— Ты человек крайностей, и они тоже, — вот в чем дело! Кто-то сказал: — «Хороший еврей — Христос, плохой — Иуда». Но я не люблю Христа, — Достоевский прав: Христос был великий путаник...

— Достоевский не утверждал этого, это — Ницше...

— Ну, Ницше. Хотя должен был утверждать именно Достоевский. Мне кто-то доказывал, что Достоевский тайно ненавидел Христа. Я тоже не люблю Христа и христианство, оптимизм — противная, насквозь фальшивая выдумка...

— Разве христианство кажется тебе оптимистичным?

— Конечно,— царствие небесное и прочая чепуха. Я думаю, что Иуда был не еврей,— грек, эллин. Он, брат, дерзкий и умный человек, Иуда. Ты когда-нибудь думал о разнообразии мотивов предательства? Они — бесконечно разнообразны. У Азефа⁴⁵ была своя философия,— глупо думать, что он предавал только ради заработка. Знаешь — если б Иуда был убежден, что в лице Христа пред ним сам Иегова,— он все-таки предал бы его. Убить бога, унижить его позорной смертью,— это, брат, не пустячок!

Он долго говорил на геростратову тему и,— как всегда, когда он сталкивался с такими мыслями,— говорил интересно, возбужденно, подхлестывая фантазию свою острейшими парадоксами. В такие минуты его грубовато-красивое, но холодное лицо становится тоньше, одухотворенней, и темные глаза, в которых у него нескрываяемо блестит страх пред чем-то,— в такие минуты горят дерзко, красиво и гордо.

Потом он вернулся к началу беседы.

— Но все-таки о евреях ты что-то выдумываешь, тут у тебя — литература! Я — не люблю их, они меня стесняют. Я чувствую себя обязанным говорить им комплименты, относиться к ним с осторожностью. Это возбуждает у меня охоту рассказывать им веселые еврейские анекдоты, в которых всегда лестно и хвастливо подчеркнута остроумие евреев. Но — я не умею рассказывать анекдоты, и мне всегда трудно с евреями. Они считают и меня виновным в несчастиях их жизни,— как же я могу чувствовать себя равным еврею, если я для него — преступник, гонитель, погромщик?

— Тогда ты напрасно вступил в это общество⁴⁶, — зачем же насиловать себя?

— А — стыд? Ты же сам говоришь — стыд. И наконец, русский писатель обязан быть либералом, социалистом, революционером — чёрт знает, чем еще! И — всего меньше — самим собою.

Усмехаясь, он добавил:

— По этому пути шел мой хороший приятель Горький, и — от него осталось почтенное, но — пустое место. Не сердись.

— Продолжай.

Он налил себе крепкого чая и — с явной целью задеть меня — стал грубо отрицать превосходный, суровый талант Ивана Бунина, — не любит он его. Но вдруг скучным голосом сказал:

— А женился я на еврейке!

В 16-м году, когда Леонид привез мне книги свои, оба мы снова и глубоко почувствовали, как много было пережито нами, и какие мы старые товарищи. Но мы могли, не споря, говорить только о прошлом, настоящее же воздвигало между нами высокую стену непримиримых разногласий.

Я не нарушу правды, если скажу, что для меня стена эта прозрачна и проницаема,— я видел за нею человека крупного, своеобразного, очень близкого мне в течение десяти лет, единственного друга в среде литераторов.

Разногласия умозрений не должны бы влиять на симпатии: я никогда не давал теориям и мнениям решающей роли в моих отношениях к людям.

Л. Н. Андреев чувствовал иначе. Но не я поставлю это в вину ему, ибо он был таков, каким хотел и умел быть — человеком редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественным в своих поисках истины.

ПРИМЕЧАНИЯ

К творчеству Николая Герасимовича *Помяловского* (1833—1863) Горький относился с неизменным уважением, считая его одним из своих литературных учителей. Он часто рекомендовал молодежи читать произведения Помяловского: «Мещанское счастье», «Мологов», «Очерки бурсы» и др. В 1932 г. под общей редакцией Горького была выпущена серия литературных произведений, объединенных названием «История молодого человека XIX столетия», куда по его предложению было включено «Мещанское счастье».

² Это письмо Андреева до нас не дошло; оно относится к весне 1898 г.

³ Здесь неточность: встреча его с Андреевым состоялась 12 марта 1900 г.

⁴ Горький любил употреблять это андреевское выражение, когда хотел подчеркнуть несоответствие между внешним обликом человека и его внутренней сущностью; «С.» — Скиталец.

⁵ Эпизод этот описан Андреевым в раннем рассказе «Весной» («Курьер», 1902, № 103, 14 апреля). О том же эпизоде упоминает друг юности Андреева — С. Д. Панова (Ф а т о в, стр. 200—201).

⁶ Неточная цитата из «Пира во время чумы» Пушкина.

⁷ Горький здесь имел в виду самый начальный период творчества Андреева. В зрелые годы, по свидетельству современников и близких писателя, Андреев работал больше по ночам и лишь на рассвете ложился спать.

⁸ Речь идет о книге Алексея Остроумова «Синезий, епископ Птолемаидский». М., 1879.

⁹ Александр Иванович *Аполлов* (1864—1893) — был священником и имел приход в Старопольском (Кавказском) крае; занимался научными изысканиями, вопросами породности почвы. Под влиянием отчасти толстовских идей пришел к отрицанию верования и обрядов православной церкви и отказался от сана.

«Исповедь» Аполлова, отпечатанная на гектографе, при содействии семьи Толстых получила широкое распространение. «Как я полюбил этого Аполлова. Какое ясное и чистое миросоверзание! Я во всем согласен с его книгой. Она может показаться пресной многим, но зато нет ни одной фальшивой ноты», — писал Толстой Черткову 1 июня 1889 г. (Л. Н. Т о л с т о й. Полн. собр. соч. Юбилейное, т. 86. М., 1937, стр. 238). Записка, поданная старопольскому архиепископу под названием «Исповедь. (Как жить нужно?)», была послана в 1892 г. Аполловым Толстому, на которого произвела большое впечатление (там же, т. 87, 1937, стр. 174). В настоящее время рукопись Аполлова хранится в Архиве Черткова (Гос. музей Толстого, Москва). С 1890-х годов Аполлов был лично связан с Толстым и Чертковым, которому помогал в работе по издательству «Посредник». «Он всем нам близкий и дорогой человек», — писал Толстой об Аполлове и неизменно посылал ему «приветы» и «любовь» (там же, стр. 164, 175, 179, 197).

Видимо, под влиянием рассказов Горького об Аполлове Андреев написал (кроме «Жизни Василия Фивейского») в 1909 г. несколько гротескный, в значительной мере сатирический и антирелигиозный рассказ «Сын человеческий», где затрагивается аналогичная тема: отказ священника именоваться Богоявленским потому, что он ничего божественного не являет миру (опубликован в альманахе «Шиповник», кн. 9).

¹⁰ Эта фраза с небольшими изменениями вошла в первый абзац «Жизни Василия Фивейского» (1903).

¹¹ Строки, приводимые Горьким по памяти, в «Екклесиасте» выражены так: «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву» (гл. IX).

¹² Цитата из «Разговора книгопродавца с поэтом» Пушкина.

¹³ Имеется в виду издание: «История плена Наполеонова. На острове св. Елены. Сочинение графа Тристана Монтолона, бывшего генерал-адъютанта императора Наполеона и спутника его на острове св. Елены. Перевод Николая Полевого». СПб., 1846 (выходила отдельными выпусками под кратким наименованием: «Записки Монтолона»).

¹⁴ Эта фраза вошла в раннюю пьесу Андреева «Брат и сестра» (ЦГАЛИ).

¹⁵ «Люди теневой стороны». — «Курьер», 1901, № 360, 30 декабря.

¹⁶ «О писателе». — «Курьер», 1902, № 269, 29 сентября.

¹⁷ Мопассан в 1885—1886 г. купил яхту, назвав ее «Милый друг».

¹⁸ Андреев, по-видимому, имел в виду книгу Цезаря Ломброзо «Гениальность и помешательство. Параллель между великими людьми и помешанными» (неоднократно издавалась в СПб. Ф. Павленковым и товариществом «Общественная польза»).

¹⁹ Собрание сочинений Андреева, о котором идет речь, выпускалось издательством А. Ф. Маркса в 1913 г. Экземпляр с надписью хранится в личной библиотеке Горького. Надпись полностью приводится на стр. 51 настоящего тома.

²⁰ Сергей Геннадиевич *Нечаев* (1847—1882) — революционер, террорист и заговорщик. Его анархо-индивидуалистические методы борьбы были в свое время осуждены К. Марксом и Ф. Энгельсом.

²¹ Андреев предположил, что Толстой принимал участие в статье С. А. Толстой о «Бездне»: «Читали, конечно, как обругал меня Толстой за „Бездну“? — спрашивал он А. А. Измайлова. — Напрасно это он, — „Бездна“ — родная дочь его „Крейцеровой сонаты“»,

хоть и побочная. Вообще, попадет мне за „Бездну“, а мне она нравится. Вот поди тут-то В ней есть одно драгоценное свойство: прямота. Оттого я некоторое время и боялся ее печатать, а теперь жалею, что не могу напечатать сто раз подряд» (ЦГАЛИ; письмо датировано 30—31 августа 1902 г.).

²² Имеется в виду рассказ «Тенор».

²³ Феодор Иванович *Владимирский* (1843—1937) — арзамасский священник и крупный общественный деятель; за выступления в Государственной думе против еврейских погромов был отстранен Синодом от церковной службы. Своим неустанным трудом создал для населения Арзамаса водопровод. Горький познакомился с ним там, когда был сослан под надзор полиции после своего ареста 17 апреля 1901 г.

Горький мечтал создать книгу об этом замечательном человеке, но осуществить свой замысел ему не удалось. Он писал Владимирскому из Сорренто 3 сентября 1927 г.: «Искренно уважаемый отец Феодор, примите мою сердечнейшую благодарность за вашу добрую память обо мне. Очерк, присланный вами, напомнил мне историю самоотверженного труда вашего на благо людей, напомнил жизнь мою в Арзамасе и все то, поистине прекрасное, чем наградило меня знакомство с вами <...> В моих воспоминаниях о Леониде Андрееве я разрешил себе упомянуть и о вас, — не сетуйте на меня за это! Весьма жалею, что все еще не нахожу времени достойно описать подвижническое житие ваше, дорогой человек» (АГ).

В Арзамасе существует Краеведческий музей, в большой мере посвященный деятельности Ф. И. Владимирского (находится он на ул. имени Владимирского).

²⁴ Михаил Федорович *Владимирский* (1874—1951) — крупный деятель Коммунистической партии; один из организаторов первых марксистских кружков, активно работавший после ссылки в Нижегородской социал-демократической организации в России; в 1930—1934 гг. — нарком здравоохранения РСФСР; сестры его — Елизавета и Елена Федоровны были с юности причастны к революционному движению, участвовали в подпольной работе, были членами КПСС.

²⁵ Андреев цитирует здесь Тургенева. В «Воспоминаниях о Белинском» Тургенев писал: «Искренность его действовала на меня, его огонь сообщался и мне, важность предмета меня увлекала; но, поговорив часа два, три, я ослабевал, легкомыслие молодости брало свое, мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде <...> „Мы не решили еще вопроса о существовании бога, — сказал он мне однажды с горьким упреком, — а вы хотите есть!..“ Сознаюсь, — добавлял здесь Тургенев, — что, написав эти слова, я чуть не вычеркнул их при мысли, что они могут возбудить улыбку на лицах иных из моих читателей... Но не пришло бы в голову смеяться тому, кто сам бы слышал, как Белинский произнес эти слова; и если при воспоминании об этой правдивости, об этой небоязни смешного, улыбка может прийти на уста, то разве улыбка умилена и удивления...» (И. С. Тургенев. Собр. соч., т. X. М., Гослитиздат, 1956, стр. 279—280).

²⁶ Рассказ «Так было» (альманах «Факелы», 1905, № 1).

²⁷ Горький имел в виду, вероятно, выпущавшиеся в течение ряда лет издательством «Скорпион» произведения Андрея Белого, написанные в своеобразной форме лирической прозы. Всего с 1902 по 1908 г. вышло четыре «Симфонии» под разными названиями: «Симфония вторая драматическая» (М., 1902); «Северная симфония. Первая героическая» (М., 1903); «Возврат» (М., 1905); «Кубок метелей» (М., 1908).

²⁸ На квартире Андреева 9 февраля 1905 г. состоялось заседание ЦК РСДРП, за что он был арестован и посажен в Таганскую тюрьму (об этом см. стр. 419—420 настоящей тома). В этот день произошел арест девяти членов ЦК партии; избежали ареста Л. Б. Красин и А. И. Любимов, случайно не пришедшие на заседание.

²⁹ Купель Силоамская — по одной из евангельских легенд, в озере Силоам Христос исцелил страждущих.

³⁰ Здесь Горький объединил рассказы Андреева различных периодов: один из наиболее ранних — «Набат» напечатан в «Курьере», 1901, № 325, 24 ноября; «Марсельеза» — в «Нижегородском сборнике» (изд. «Знание», 1905); «Из рассказа, который никогда не будет окончен» — в «Утре России», 1907, № 11, 16 сентября.

³¹ Политическая активность Андреева в Финляндии подтверждается секретными документами Особого отдела Финляндского жандармского управления. Так, об этом идет речь в донесении от 10 июля 1906 г. о предреволюционном положении в Гельсингфорсе (см. этот документ на стр. 520 настоящей тома).

В другом секретном донесении заведующего розыскной агентурой в Финляндии от 17 июля 1906 г. сообщалось: «Леонид Андреев заявил, что действия правительства вынуждают на восстание и последнее будет вскоре всеобщим, ибо так дальше жить нельзя, а массы уже достаточно сплочены и даже часть войска примет, будто бы, сторону народа <...> Вечером 9 числа упоминаемый выше Андреев и Михайличенко <...> выехали в Выборг на проходившие там совещания членов Гос. думы; провожала их большая толпа <...> из революционных песен была исполнена одна новая <...>, начинающаяся словами: „Россия, Россия, Россия моя! Бедная, горькая участь твоя!“ Поезд тронулся под звуки Марсельезы, сыгранной оркестром Красной гвардии» («О беспорядках и массовках в окрестностях Гельсингфорса — Дюргорне и о речах депу-

татов, приехавших вместе с Леонидом Андреевым из России». — ЦГАОР, ф. 102-И, оп. 6, ед. хр. 2/12, л. 124).

³² Цитируемое Горьким письмо Андреева не дошло до нас; относится оно, по-видимому, к 1906 г.

³³ Горький имеет в виду Анатолия Георгиевича *Уфимцева* (1880—1936) — впоследствии известного советского изобретателя и авиаконструктора.

7 марта 1898 г. Уфимцев вместе с товарищами Л. Кишкиным, В. Каменевым и А. Лагутиным в целях борьбы с религиозным суеверием подложили «адскую машину» под «чудотворный» образ в курском Знаменском монастыре. Духовенству удалось подменить погибшую при взрыве в ночь на 8 марта икону ее точной копией. Спекулируя на «чуде», духовенство значительно повысило доходы монастыря за счет потока паломников со всех концов России. Власти не решились привлечь арестованных в 1901 г. и заключенных в Петропавловскую крепость организаторов взрыва к открытому суду, так как в этом случае обмен духовенства неминуемо был бы разоблачен (И. Б а с к е в и ч. Горький в Курске. Курск, 1959, стр. 12—16). 6 января 1902 г. в «Правительственном вестнике» (№ 5) было помещено официальное сообщение, в котором говорилось, что Уфимцев, легкомысленно полагавший «поколебать веру в чтимую святыню и обратить всеобщее внимание на выходящий из ряда факт», а также его товарищи повелением царя приговорены к административной высылке на разные сроки в Восточную Сибирь.

Дело Уфимцева, сосланного под надзор полиции в Акмолинск, очень заинтересовало Горького. 21 июня 1891 г., будучи в Курске, он видел праздник выноса «чудотворной» иконы и запомнил «ужасное зрелище» крестного хода, огромное скопление жаждавших чудесного исцеления калек, нищих, кликуш. Горький выслал Уфимцеву в Акмолинск 500 рублей, на которые тот оборудовал небольшую механическую мастерскую. Ранняя переписка Горького с Уфимцевым не сохранилась (В. У ф и м ц е в а. Горький и Уфимцев. — «Молодая гвардия», Курск, 1928, 18 июля). В 1928 г., совершая поездку по Союзу, Горький 7 июля посетил Курск и встретился с Уфимцевым, пославшим ему приглашение (И. Б а с к е в и ч. Горький в Курске, 1959; Леонид Г а н. Человек, покоривший ветер. — «Огонек», 1940, № 3, стр. 3—5).

Горький рассказал об Уфимцеве и в очерке «По Союзу Советов». Там прямо говорится: «Леонид Андреев сделал из него героя своей пьесы „Савва“» (XVII, 152).

³⁴ Андреев приехал к Горькому на Капри в декабре 1906 г. и прожил там до весны 1907 г.

³⁵ Горький не все знал о настроениях Андреева того времени.

³⁶ Речь идет о стихотворении Александра Рославлева «Иуде». О нем — см. Переписка, № 165.

³⁷ Гедберг *Тор* (1862—1931) — шведский писатель. Повесть «Иуда» вышла в свет в 1886 г. с подзаголовком «История одного страдания». В 1895 г. повесть была переделана автором для сцены. В России вышла в 1908 г. в издательстве «Польза» (предисл. и перевод В. Спасской); 2-е изд. — 1913 г. в «Универсальной библиотеке».

³⁸ О книге Н. Н. Голованова «Искарриот» — см. Переписка, № 166, прим. 5.

³⁹ В «Петербургской газете» (1908, № 235, 27 августа) было напечатано интервью, которое взял у Андреева журналист А. Потемкин, записавший с его слов: «К зиме будет написан первый роман» (имеется в виду «Сашка Жегулев»).

⁴⁰ Иосиф Иванович *Каблиц* (псевдоним Юзов; 1848—1893) — писатель либерально-народнического направления (ранее бакунист), сотрудник журналов «Слово», «Неделя» и др. В последний период жизни стал идеологом реакционного славянофильского народничества; автор книги «Основы народничества» (СПб., 1882; доп. изд.: СПб., 1888—1893).

⁴¹ Афанасий Прокопьевич *Щанов* (1830—1876) — один из деятелей революционно-демократического движения 1860-х годов, историк народнического направления.

⁴² Андреев, вероятно, имел в виду труд И. Е. Забелина «Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях» (т. I, М., 1862; т. II, М., 1869).

⁴³ Петр Моисеевич *Рутенберг* — см. о нем Переписка, № 156, прим. 5.

⁴⁴ Джакомо *Леонарди* (1798—1837) — итальянский поэт, любимый Горьким.

⁴⁵ Евно Фиселевич *Азеф* (1869—1918) — один из организаторов партии социалистов-революционеров; в 1908 г. был разоблачен как провокатор, служивший в царской охранке; бежал от партийного суда в Германию; в годы империалистической войны был там арестован.

⁴⁶ Горький имеет в виду «Русское общество для изучения жизни евреев». См. о нем стр. 547—548 настоящ. тома.